

Тимур
Кибиров

Лада, или Радость

хроника
верной
и счастливой любви

роман

москва 2014



УДК 821.161.1-3

ББК 84Р7-4

К38

фотография Анны Чубковой

дизайн серии — Валерий Калныньш

Кибилов Т. Ю.

Лада, или Радость: Хроника верной и счастливой любви:
К38 Роман. — М.: Время, 2014. — 192 с. — 2-е изд., стереотип.
(Серия «Самое время!»)
ISBN 978-5-9691-1181-3

Перед нами — первый прозаический опыт лауреата Национальной премии «Поэт» Тимура Кибирова. «Радость сопутствует читателю “хроники верной и счастливой любви” на всех ее этапах. Даже там, где сюжет коварно оскаливается, чистая радость перекрывает соблазн пустить слезу. Дело не в том, что автор заранее пообещал нам хеппи-энд, — дело в свободной и обнадеживающей интонации, что дорога тем читателям стихов Кибирова, которые... Которые (ох, наверно, многих обижу) умеют его читать. То есть слышат светлую, переливчато-многоголосую, искрящуюся шампанским, в небеса зовущую музыку даже там, где поэт страшно рычит, жалуется на треклятую жизнь, всхлипывает, сжавшись в комок, а то и просто рыдает... Не флейта крысолова, не стон, зовущийся песней, не послух сладостного забвения, не громокипящий марш (хотя и все это, конечно, у Кибирова слышится), а музыка как таковая» (Андрей Немзер).

ББК 84Р7-4

ISBN 978-5-9691-1181-3



© Тимур Кибилов, 2014

© «ВРЕМЯ», 2014

1. ИНТРОДУКЦИЯ

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?

Александр Сергеевич Пушкин

Предлагаемое вашему вниманию литературно-художественное произведение является первым прозаическим опытом нашего автора. И хотя новичком на поприще отечественной словесности Т. Ю. Кибирова никак не назовешь (недавно, между прочим, было отмечено двадцатилетие плодотворной творческой деятельности — и это считая с первой публикации, а с первого написанного стихка так вообще сорокалетие с хвостиком!), и хотя сочинитель этот совсем не робкого (в литературном, конечно, смысле) десятка и, подобно каверинским капитанам и тениссоновскому Улиссу, давно уже начертал на своем щите «*To strive, to seek, to find, and not to yield!*»*, тем не менее, невзирая на все это, я ужасно как трушу и смущаюсь и поэтому начинаю все-таки с естественного и привычного лирического песнопения:

Было счастье короче, чем взмах ресницы...
Или снилось мне *то*? Или *это* снится?
Я тебя любила, а ты забыла!
Лизавета, где ты?!

Я зываю во тьму, но ответа нету!
Осыпается наше с тобою лето.

* Держать, искать, найти и не сдаваться. (Перевод Г. Кружкова.)

Отошла в поля ты в лучах заката.

Кто же нынче, Лиза,

Твои глазки, коленки, ладошки лижет?

Ты все дальше, Лиза, а смерть все ближе!

Только мнится — разлука с тобой страшнее

Залетейской стужи!

Кто же, Лиза, теперь тебе верно служит?

Дай те Бог, чтоб служил он меня не хуже!

Здесь нам пел жаворонок, а днесь ворона

Мне пророчит гибель!

Были мы богиням подобны, ибо

Мы с тобою бессмертными стать могли бы,

Ведь любовь же, Лизанька, крепче смерти!

А ведь мы любили!

Но иное судьбы — увы — судили!

Расстоянья меж нами, версты, мили!

Так прощай, Лизочек, прости, дружочек,

Поминай как звали

Ту, кого целовала ты, миловала,

И пускала тайно под одеяло,

Для кого запах кожи твоей дороже

Благовоний рая!

Вспомяни же, с другом другим играя,

Наши игры на солнышке у сарая,

В надувном бассейне золотые брызги
И блаженства визги! —

вот так, наверное, приблизительно так звучал бы горестный плач безутешной Лады в переводе на человеческий, русский язык.

Но переводить было некому, а Александра Егоровна никаких иных языков не знала (разве что совсем чуть-чуть церковно-славянский), поэтому она слышала только неумолчный и безобразный вой и бессмысленный скулеж. О пронзительности же Ладиных причитаний мы можем судить по тому печальному обстоятельству, что из-за них сильно глуховатая баба Шура уже который час не могла уснуть.

— Господи, да что ж это такое? что ж она не утомится-то никак?! Это ж с ума же можно сойти! Да замолчи же ты уже, наконец, паразитка! — шептала в темноте несчастная старуха, кляня свое неразумие и не совсем уместно помяная порося из народной мудрости.

Старенькие, еще мамины настольные часы пробили полтретьего. На мертвенно бледных занавесках колыхались смутные тени ветвей. Под завывания Лады все в доме казалось непривычным, чуждым и даже каким-то страшноватым. Да еще бессердечный Барсик, вместо того чтобы, как заведено годами, мурчать на хозяйкином пододеяльнике, забрался то ли от страха, то ли от раздраженной спеси на шифоньер и замер там таинственно и мрачно, мерцая своим единственным глазом — ни дать, ни взять ворон на бюсте Паллады.

— Так тебе и надо, дура старая, вот тебе твоя обновка, вот тебе туфли-лодочки! И уют в придачу!

Спать и даже просто спокойно лежать Александре Егоровне было невмочь, подушка уже давно была горяча с обеих сторон, а перина еще жарче и неудобнее. Сердце-вещун ныло и нашептывало всякие неприятные глупости и несурзности, с которыми усталая голова не могла уже совладать.

— Да что ж такое за наказание?! Да не бешенная ли она часом?! Царица Небесная, спаси и сохрани!

И тут, словно во исполнение молитвы, истошные Ладины крики внезапно смолкли, и сентябрьская ночь исполнилась блаженной тишиной.

— Слава тебе Господи, слава тебе Господи! Наконец-то! Ну наконец-то, — поторопилась обрадоваться бедная бабушка.

Ох, не тут-то было! Лада и не думала униматься, она просто переводила свой скорбный дух. Мгновенное затишье миновало и отвратительные звуки с новой, невиданной силой взвились к равнодушному небу и обрушились на обитателей избушки. И на сей раз надменный Барсик не выдержал и вступил вторым голосом, к которому через несколько секунд присоединился третий — дребезжащий от непривычки орать голосок самой Егоровны:

— Да замолчите же вы! Заткнись, заткнись, зараза!

Никто не затыкался. Трудно было поверить, что эти звуки исходили из глоток обыкновенных земных существ, а не проклятых душ, оплакивающих свою незавидную загробную участь! С нами крестная сила! Тут уж впору было страшиться не мифического бешенства, разносимого, по уверениям центрального ТВ, ежиками, а вполне реального и ужасного беснования и осатанения!

Что-то надо было, наконец, делать. Так ведь и рехнуться недолго на старости лет. Егоровна, скрепя робкое сердечко,

встала, надела очки и, нащупав босой ногой старые калоши в дверях, — холодно-то как, бр-р-р-р! — вышла из мрака сней в призрачный сизый предутренний свет.

В сыром ночном тумане смутно белела маленькая фигурка, которая при появлении в свою очередь белеющей в ночной рубаше старухи заголосила пуще прежнего, переходя на уж совсем какой-то душераздирающий писк и хрип.

— Спустить ее, что ли? У Харчевниковых-то набаловалась, так теперь, видать, невамоготу... Да ведь потопчет же все в огороде, поганка... Искусает еще... Ишь как рвется. А ну подохнет?.. — Старушка неуверенно и как-то бочком подходила все ближе и ближе к беснующейся Ладе. — Ну что, ну что, ну будет тебе уж... Ну давай пущу, что ли... Только ты не очень...

О нет! Никого не покусала и ничего не подавила освобожденная Лада, ни одна грядка, ни один цветочек не был смят ее легкой стопой!! До грядок ли ей было, до чужих ли старух!

Как вихрь, как молния, как маленькая, но беззаконная комета вырвалась Лада из рук оторопевшей бабы Шуры, пронеслась к запертой калитке, подпрыгнула, сорвалась, опять подпрыгнула, зацепилась, повисла, завизжала от боли и отчаянья, напряглась всем своим ничтожным белым телом, несуразно засучила и заскребла ногами и перевалилась-таки через штaketник, и почесала, и почесала, растворяясь в белизне проселка — туда, туда в сторону шоссе, по которому в прошлой жизни, отражая стеклами и новенькой полировкой вчерашний закат, увезла ее бедную Лизу родительская «Тойота». Туда, туда, в туманную даль умчалась новейшая Миньона, не обернувшись на голос постылой старухи, не снизойдя к ее мольбам и пеням.

А Александра Егоровна осталась одна посреди деревни и, видимо, в целом мире, — такая вдруг наступила странная тишь и мгла. И ладно бы просто одна (тем более что обрадованный исчезновением Лады беззвучный Барсик уже терся вокруг старушкиных ног), но этот целый мир был ни капельки не знакомым, абсолютно неведомым, таинственно безмолвным и, кажется, бесчеловечным. Что это там такое темнеет — совсем непохожее на тупицынский дом? что же это там высится такое непонятное за мостками? что это так зловеще стелется и шевелится? что мерцает там за туманами? и что это за такие невиданные колдовские туманы? Что это все значит? Откуда и зачем это? Что я-то тут делаю, и как же мне быть-то среди всего этого огромного, чужого и непонятного?

Да Господь с тобой, тетя Шура! Это же твоя родная деревня! Вон тупицынский дом, вон старый тополь, вон за Медведкой поднимается лес, где любая стежка-дорожка хоть и позаросла, но ведь знакома, хожена-перехожена, ну что ты? Это все с непривычки, просто ты уже лет шестьдесят не была на улице в это время суток, буквально с безвозвратных дней такой же туманной юности, с незапамятных времен гуляний-милований с Ванюшей-моряком, да и тогда все, конечно же, другое было — брехали собаки, петухи пели, пахло скотиной, деревня во сне бормотала, ворочалась, дышала и жила; а теперь до весны никого уже здесь не будет — только ты да Барсик, да на другом конце Ритка Сапрыкина.

Ой, нет, не только!

Про Жорика-то мы забыли! А он, безобразник, тут как тут, подкрался сзади на цыпочках да в самое старушкино ухо как-к гаркнет: «Стоять!! Вихрь-антитеррор!! Руки на капот!!» — тут из Егоровны и дух вон.

Ну не совсем, конечно, так, на несколько загробных мгновений.

Многолетний перегар Жорика, на руки которого и повалилась бесчувственная Егоровна, подействовал что твой нашатырь и вернул нашу любимую героиню на этот свет.

Где ее приветствовал бессмысленный и бесстыжий хохот:

— Ну чо, старая?!

Кому не спится в ночь глухую? —
Собаке, сторожу и х...!

2. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

*Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, спрошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?*

Федор Иванович Тютчев

Читатель вправе поинтересоваться:

— А с каких это щей, Тимур Юрьич, заглавная героиня носит такое дикое, отчасти славянофильское имя? И не означает ли это, что вы, уже давно и справедливо заподозренный в религиозном фундаментализме, решились к голлимому православию присовокупить до кучи и самодержавие с народностью, и не явится ли ваш, с позволения сказать, роман «смесью Каткова и кутьи», от каковой неаппетитной смеси тошнит уже русскую словесность — «да вот беда, что дело не дойдет до рвоты»? А?

— Нет, милый читатель! Не тревожься и не надейся, ничего такого Лада не означает. Более того, ее кличка никак не связана и с Ладой Владиславовной Афониной, моей давнишней работодательницей и подружкой. Равно как и с популярной некогда песней (музыка Шаинского, слова Плещинского) или с мало популярным автомобилем.

Дело все в том, что поименовавшая мою героиню Лизка Харчевникова была девочкой необычайно странной, прямо не от мира сего, так что мамаша в сердцах часто даже обзывала ее имбецилкой, а любящий, но глупый отец мечтательно подозревал, что у него растет ребенок-индиго.

А все потому, что их худенькая, белобрысенькая и — увы — очень некрасивенькая пятиклассница ни с того ни с сего при-страстилась к чтению, так что даже предпочитала это необы-чайное и старинное занятие всем иным забавам и утехам. Правда читала она, бедняжка, в основном всякую попсовую дребедень, которую нежный родитель, невзирая на запреты и угрозы крикливой супруги, покупал для нее на книжных лот-ках, в киосках и у сладкоречивых книгонош в электричках.

Всю четвертую четверть прошедшего учебного года и на-чало летних каникул Лизочка была погружена в мистические миры Буй-Тура Воеводина, пожалуй, самого хваткого и безза-стенчивого из перелagateлей Толкиена и Роберта Желязны на язык «Дома-2» и «Антикиллера-3». (Говорят, кстати, что под грозным псевдонимом скрывается выпускница Литинститу-та, популярный ди-джей радио «Отрыв» и колумнистка не-скольких периодических изданий Ада Минглет.)

Особенно Лизе понравилась седьмая часть буй-туровой эпопеи — «Воительницы Лукоморья». Одна из этих, облачен-ных, судя по обложке, в бронированные бикини, славяно-росских валькирий обладала удивительной способностью обращаться из натуральной блондинки то в белоснежную степную кобылицу, то в белокрылого сокола или среброкры-лого лебедя, а то и в белокурую (sic!) волчицу! Что не раз помогало ей наводить ужас на орды зверообразных врагов земли святорусской. Поэтому, когда юная читательница, за-чарованная веселостью и ласковостью не менее белокурого собачьего подростка, выклянчивавшего горелую говядину у придорожной шашлычной, упросила папу, а тот ценой не-вероятных унижений и несбыточных обещаний умолил гла-

ву харчевниковской семьи приютить бездомную собачку, вопрос о кличке решился мгновенно.

Так Лада оказалась на даче у капитана транспортной милиции Алексея Харчевникова. А если говорить честно — какая уж там, прости господи, дача! Обыкновенный средне-русский пятистенки, сложенный еще Лешкиным прадедом и обезображенный стеклопакетами, ламинатом, телевизионной тарелкой и жирной дурой-женой, в отличие от Лады — совсем уж ненатуральной блондинкой.

И было лето, ослепительное щенячье лето, и вспыхнувшая с первого взгляда любовь Лады и Лизы разгоралась с каждым днем ярче и жарче.

Конечно, Ладе случалось в эти два блаженных месяца знать и печали, особенно в первые дни, когда она никак не могла уяснить, что не все в ее новом доме готовы разделить ее веселонравье и душевную открытость, и бывала нещадно и обидно бита Лизиной мамой, которую бы, по-хорошему, саму следовало выпороть как сидорову козу за постоянную раздраженность и злобную глупость.

Но вскоре сообразительная Лада научилась тому, что Лиза — увы — умела с младенчества: не попадаться на глаза и под горячую руку этой разжиревшей на немереных ментовских бабках халде. Это было, в общем-то, не сложно, поскольку капитанская жена целыми днями валялась или на кровати перед телевизором или на надувном матрасе с «ТВ парком», загорая — иногда (к восторгу подглядывающего из-за призаборных кустов Жорика и к нашему омерзению) топлесс. Но о Жоре чуть позднее.

Даже категорический запрет брать «эту шавку» в постель подружки довольно часто умудрялись нарушать, стоило

только Зойке (так и слышу ее визжащий голос: «Кому Зойка, а кому Зоя Геннадиевна!» Да ради Бога! Хоть мадам Харчевникова) недостаточно плотно припереть дверь на веранду, где шавке положено было ночевать, как Лада, искусно орудуя своим замшевым носом и передними лапками, растворяла эту исцарапанную ею дверь и, цокая коготками в ночной тиши, пробежала к Лизиному дивану, и там, в лунном и соловьином сиянии, льющемся из окна, начинались тихая возня, лизание, девчачьи прысканья в подушку, горячий шепот и уморительные стоны райского наслаждения, когда Лиза чесала пальчиком глубоко внутри нежного Ладиного уха. Главное было, чтобы Зойка не проснулась утром раньше преступной парочки и не застала Ладу лежащей в Лизиных ногах, — так Лиза и не смогла приучить ее спать рядышком, головой на подушке: настоящие собаки этого почему-то не любят, повалиться повалываются, а потом уходят на другой конец кровати и, покрутившись, со вздохами укладываются там. Хотя вообще это, конечно, форменное безобразие, и в немецкой книжке о воспитании собак была, я помню, специальная глава о таком баловстве — «Фриц на кушетке». Но мой покойный немец с моей подначки и попустительства почивал исключительно на кушетках и кроватях, и нынешней моей дворняжке это тем более позволено — так что лично я Лизу понимаю и нисколько не осуждаю.

Помимо всех прочих нечаянных радостей, которыми Лада наполнила Лизину жизнь, благодаря ей в первый и последний раз Лиза стала пользоваться и даже злоупотреблять успехом, впрочем не очень долгим. Сначала малышня, а потом и стайка кичливых отроковиц, никогда доселе не обращавшая на невзрачную и тихую Лизу никакого внимания,

стали домогаться Лизиной дружбы и позволения поиграть с веселой собачкой, погладить ее по белой (точнее светло-светло-палевой) шерстке, угостить ее чипсами или шоколадкой, не говоря уже о том, чтобы бросить ей палку на середину пруда и потом, когда она приплывет обратно и, отряхиваясь, забрызжет всю визжащую компанию, пытаться вырвать эту полуизгрызенную палку из пасти расшалившейся, непослушной и мокрой Лады.

Беденькая Лиза даже немного заважничала: «Господи, ну сколько можно повторять! Ну я ведь говорила, что ей “Чупа-чупс” категорически нельзя. Ну все, хватит, собака устала. Лада, Лада! Ко мне!». Довольно скоро, однако, Лада потеряла для ветреной младости прелесть новизны, и компания будущих блондинок опять стала недоступной и незрительной. Да и бог с ними с этими дурочками, пусть себе упиваются своими бабл-гамами, ай-подами и биланами, Ладе и Лизе и без них было хорошо и весело на Дальнем пруду.

Этот водоем на месте старого песчаного карьера был не так уж далек от деревни — метров триста-четырееста, Дальним же его прозвали для отличия от другого пруда, который располагался в самой деревне и на сегодняшний день совсем захирел и превратился в заросшую лужу, почти пересыхающую к началу августа.

Дальний пруд, конечно, тоже был сильно испакошен и мало походил на то прохладное кристальное чудо, которое хранилось в памяти Александры Егоровны. Сквозь мутную, взбаламученную кишачей человеческой плотью воду уже нельзя было рассмотреть, как тогда, девственное песчаное дно, берега поросли всякой мусорной ерундой, исполин-

ский сосновый бор на западном берегу был давно истреблен дачным кооперативом Вознесенского химического завода, и не стало тех вкуснейших маленьких карасиков и золотистых линей, которых маленькая Саша ловила с братом на незапамятных рассветах, когда огромное солнце всходило за их спинами, постепенно разгоняя седой туман и превращая оловянную гладь в червонное золото, и там, на этом предутреннем пруду, однажды также медленно и величаво, как солнце, вышел из лесу огромный сказочный зверь с разлапистыми великаньими рогами и отразился в воде, и долго стоял недвижимо, сумрачно глядя на онемевших от восторга и ужаса детей.

Всего этого волшебства уже не было и в помине, но и того, что еще оставалось, хватало с лихвой для тех, кто понимает, а наши подружки были как раз из этого счастливого числа.

Лада оказалась собакой на удивление водоплавающей, просто какая-то выдра, Лиза тоже в этом отношении не знала никакой меры, благо взрослых с ними почти никогда не было — так что и собака, и девочка высыхали только под вечер, а с утра, счастливо ускользнув от Зойки, опять мчались на пруд.

Да что говорить, вы ведь и сами все прекрасно понимаете и помните!

Но недолго — всего полторы недели — наслаждались наши аграфены-купальницы плаванием по-собачьи и нырянием солдатиком со скользких подгнивших мостков. В один прекрасный день (а дни этим летом практически все были прекрасны, как на картинке из рекламы «Домика в деревне») Лизка, выходя из воды, здорово распорола пятку об осколок пивной бутылки. Рана быстро (как на собаке) зажи-

ла, но успела страшно перепугать папеньку и разозлить маменьку. Купания в «этой помойке» и «гадюшнике» и с «этим подонками» были категорически запрещены.

Два дня подружки промаялись, исходя завистью к усталым, но довольным и мокрым счастливым, возвращающимся с пруда в длинных косых лучах июльского вечера. Но на третий день потный Харчевников привез из города разноцветный китайский надувной бассейн — Лизе почти по пояс, а Ладе вообще с головкой! И хотя веселия глас смолкнул буквально через пять минут после начала водных процедур и сменился перепутанным безмолвием, поскольку собачка в восторге упоения то ли прокусила, то ли процарапала пластиковую стенку у самого основания, и маленький, но стремительный ручеек все ближе и ближе подбирался к принимавшей солнечные ванны Зойке, но все обошлось благополучно — разомлевшая стерва дрыхла и ничего так и не заметила, а рукастый капитан тут же аккуратно и надежно заклеил пробоины латками из старой велосипедной камеры.

Вот в этом сверкающем вместилище роскоши, прохлад и нег Лада с Лизой и проводили большую часть знойного светового дня, а меньшую, но не менее упоительную — в тайном убежище между сараем и забором, в узкой щели, которую папка покрыл ветхой парниковой пленкой. Там было, конечно же, одуряюще жарко, но зато укромно и уютно, а во время слепых дождей и грибных ливней лучшего места и придумать было невозможно.

Здесь на старом покрывале Лиза, вгрызаясь смешными заячьими резцами в яблоки, становящиеся с каждым днем все слаще, изумленно читала «Нарнию», изданную благо-

даря голливудскому фильму в той же массовой серии, что и Буй-Тур, а Лада спала буквально без задних ног, и, судя по движениям этих ног, во сне за кем-то гонялась и баловалась.

Здесь, кстати, произошло и знакомство Лады с соседским Барсиком. Этот пожилой кот, утративший в битвах и волокитстве правый глаз, сохранил, тем не менее, юношеское любопытство и прокудливость. Движимый этими неистребимыми кошачьими свойствами он и сиганул с крытой толью крыши сарая на полиэтилен, укрывающий Лизину обитель, и свалился буквально как гром на голову разоспавшейся Ладушке. Последовавшая стремительная погоня закончилась серией молниеносных и точных ударов, окровавивших баззащитный собачкин нос. Почти две недели после этого белая мордочка была разукрашена, как лица американских коммандос, бриллиантовой зеленью, именуемой в просторечии зеленой. Но это не прибавило осмотрительности четвероногой балбеске, и вскоре Ладка была снова уязвлена в то же чувствительное место — на сей раз ужасным шершнем, таких невероятных размеров, какие вам, читатель, и в страшном сне не снились!

В общем, на вопрос, мучивший меня в старших классах, —

Что счастье? Вечерние прохлады
В темнеющем саду в ночной глуши,
Иль мрачные, порочные улады
Вина страстей, гибели души? —

я со всей определенностью отвечаю — ни то ни другое! Настоящее, всамделишное счастье — это вот эти вот щенячьи

восторги и девчачьи визги, эти солнечные плески и блески, эти розовые лепестки шиповника (также именуемого, кстати, собачьей розой) нанесенные теплым Зефиром в бассейн, на одном из которых плыл, как на лодочке, черненький светливый муравьишка, и вон та синяя-синяя, большая-пребольшая туча, медленно взбухающая над лесом, чтобы к полудню на радость огородникам и садоводам обрушиться громокипящей живительной влагой и уйти дальше, в сторону Коммуны, и там возводить с двух разных концов земли прозрачную и многоцветную триумфальную арку, — все это Елизавета Алексеевна Харчевникова будет вспоминать всю свою не слишком задавшуюся жизнь и улыбаться.

Но, как поется в старой казачьей песне: «Все имеет свой конец, свое начало», особенно летние каникулы. Все длиннее становились ночи, все прохладнее и мимолетнее дни, все ярче рябина и малиновое слива, все заметнее делались предательские прядки в кронах зеленокудрого леса, и все гуще и дольше стлались утренние туманы над Медведкой.

И так же неумолимо сгущались и метафорические тучи над белобрсыми и беспечными головами Лады и Лизы.

3. КОЛДУНЫ

*Там небеса и воды ясны!
Там песни птичек сладкогласны!
О родина! Все дни твои прекрасны!
Где б ни был я, но все с тобой
Душой.*

Василий Андреевич Жуковский

Деревня, в которой произошли и еще произойдут описываемые мной события, по-настоящему должна бы называться Малыми Колдунами, но поскольку Большие Колдуны, расположенные верстах в семи вниз по течению Медведки, еще в двадцатые годы, благодаря хулиганскому обыкновению коммунистов похабить карту России именами убийц, стали называться Коммуной имени Розалии Землячки, уменьшительный эпитет потерял всякий смысл и постепенно забылся.

Кстати, и название райцентра — Вознесенск, звучащее для неосведомленного чуженина столь благолепно, на самом деле было дано в честь героя гражданской войны Артема Вознесенского, небольшой, но конный памятник которому у здания городской администрации доселе встает на дыбы и указывает буденовской шашкой в даль. В свое время группа творческой и технической интеллигенции (впоследствии оказавшейся компрадорской), перевозбужденная коротичевским «Огоньком», пыталась даже организовать движение за возвращение городу исторического названия — Скотопригоньевск, но поддержки у горожан, разумеется, не нашла.

Происхождение странного сказочного топонима мне, к сожалению, неизвестно. Во младенчестве Александра Егоровна была твердо убеждена, что своим чудным названием родная деревня была обязана деду Матвею Голощاپову, сумрачному вдовому кузнецу, явному и злому волшебнику. Но большинство ее сверстников судили иначе, в кузнеце не усматривали ничего такого колдовского, а вот Евдокию Богучарову — злобную и горбатую Сашину тетку — почитали не без основания ведьмой.

Взрослые же обитатели деревни или равнодушно пожимали плечами: «А шут его знает, Колдуны и Колдуны», или начинали, во хмелю, заведомо привирать — иногда довольно искусно. Никаких настоящих дедовских преданий на эту тему, к несчастью, не сохранилось.

Вообще нельзя сказать, чтобы жителям деревни так уж нравилось ее название, подозреваю даже, что они втайне завидовали обитателям Коммуны — тем более что те, абсолютно не помнящие родства, глупо, но обидно дразнились: «Колдуны, колдуны, потеряли штаны», из-за чего нередко случались междоусобные бои на кулачках или даже на колях, орошающие берега тихоструйной Медведки братской кровью из разбитых сопелок.

Могу, конечно, для очистки совести отослать читателя к брошюре «Земля вознесенская», изданной в рамках федеральной программы «Возрождение малой Родины». Ее автор, Миколайчук Ю. Ф., уверенно, но бездоказательно приписывает предкам Гогушиных, Богучаровых и Тупицыных какую-то особую предрасположенность к волхвованию и чародейству. Возможно, убежденность страстного краеведа в том, что и пушкинский вдохновенный кудесник, и три волхва, предрекшие смерть Иоанна Грозного в первой части драматической

трилогии А. К. Толстого, были земляками Александры Егоровны, и основывается на каких-то фактах и документах, но поскольку читателю об этом ничего не сообщается, мы вправе не принимать на веру подобные смелые утверждения. Маловероятным нам кажется и то, что блоковское четверостишие:

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна, —

навеяно якобы рассказами однокашника Блока по университету, некоего Бориса Иванчевского, «не раз гостившего в усадьбе Ильино, неподалеку от Колдунов». Очень даже подалеку, кстати, — километров пятнадцать как минимум.

А уж предположение автора, что детская магическая формула «Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь» родилась именно в нашей деревне — это уж вообще какое-то издевательство над здравым смыслом и федеральной программой. Правда Миколайчук приводит в главе о Колдунах ценнейший фольклорный материал, собранный им лично, но — увы — все без исключения частушки напечатаны с цензурными изъятиями, так что можно только догадываться о каком конкретно воздействии и на какую именно часть тела просит лирический герой вот этого задорного четверостишия —

Дуня, Дуня, ты колдунья,
Дуня, Дуня, поколдуй

.....
.....

Зато песня на слова самого Миколайчука приводится полностью. А первый куплет — даже два раза, поскольку именно его автор взял эпиграфом к своему труду:

Мой край Вознесенский,
Леса и поля,
Родные просторы,
Родная земля!
Взгляни, чужеземец,
Взгляни и признай:
Не видел ты краше
Чем русский наш край!

Эту самую песню, между прочим, пела на конкурсе районной художественной самодеятельности тогда еще совсем молодая Маргарита Сергеевна Сапрыкина, в сарафане и кокошнике, пела замечательно, с душой, — но победить, к сожалению, так и не смогла, заняла только третье место, на что ужасно обиделась и рассердилась и демонстративно отказалась участвовать в заключительном концерте; сидела в зале, насмешливо фыркала и отпускала ядовитые реплики, так что дружинникам даже пришлось ее приструнить.

Здравомыслящий чужеземец вряд ли, конечно, согласится, что ничего краше Вознесенского района не может быть, но, если только он не ослеплен русофобией, наверняка охотно признает, что местность, где расположена наша деревня, действительно очень красива. Дурак Миколайчук, чем печатать бесчисленные портреты А. М. Вознесенского и других орденосных земляков, поместил бы лучше фотографии тех самых лесов и полей и родных просторов. Или хотя бы

репродукцию полотна «Крестьянская свадьба в Ильине» кисти уроженца Скотопригоньевска художника Алексея Ефимцева, — не то чтоб это был уж такой шедевр, но все-таки.

А на странице 43 воспроизведена, между прочим, карта Скотопригоньевского уезда, рисованная в 17.. году управляющим имением князя Бунчук-Бранчковского ученым немцем Карлом Шварцкопфом и хранящаяся нынче в краеведческом музее; и там на месте нынешней Коммуны написано Koltuny, так что, может быть, первоначально никакой сказочности в названии нашей деревни и не было, и она вполне могла встать в один ряд с селом Горюхиным и Неурожайкой тож.

Малые Колдуны и впрямь были невелики — где-то полтора десятка домов, вытянувшихся между проселочной дорогой и речкой Медведкой (тоже странное название). За проселком простирались почти до горизонта поля — некогда колхозные, а ныне непонятно чьи, заброшенные и зарастающие уже и кустарником. А сразу за узкой, как ручей, но в некоторых местах довольно глубокой речкой взбирался на пологие холмы лес — смешавший, как Лада, многое множество пород, но тем не менее (опять-таки как наша дворянка) красивый и здоровый. Некоторые части его были, впрочем, и вполне чистопородными — темный мрачноватый ельник на самом верху, и пресветлый и радостный, как сто один далматинец, березняк у кладбища, а уже на выходе — мое любимое, мое родное, мое дружное и многочисленное семейство сосен и сосеночек, поэтически прозываемое Девичьим борком.

Правда последние четыре десятилетия, помимо этого названия, укоренилось и другое, довольно противное — Сра-

ный лес — из-за того что поселяне, возвращающиеся на электричке из Москвы или Вознесенска, только здесь впервые за полтора часа пешего хода с тяжелой поклажей (это после долгой и муторной езды в набитом вагоне) оказывались наконец в местах, пригодных для отправления естественных больших нужд.

Но к ляду весь этот неуместный натурализм, лучше скажем о своем излюбленном дереве словами китайского мудреца Вэнь Чжэньхэня (1585—1645), который в книге «Чан у чжи» («О вещах, радующих взор») пишет: «Древние называли сосну в паре с кипарисом, однако же первой среди деревьев благородных и ценных следует поставить сосну... Кора ее — как чешуя дракона, а в ее кроне поет ветер, словно волны накатываются на берег. К чему тогда уходить на горные вершины или берег седого моря?» Действительно — к чему?

А в самой деревне странника поражал своими невероятными размерами старый тополь у колодца, как мне доводилось уже писать — высотой почти до звезды. Когда-то их было два таких вековых исполина, но в одного из братьев однажды ударила молния и, несмотря на бушующий ливень, он сгорел почти до земли — но это было так давно, что Александра Егоровна и не знает, действительно ли она помнит эту ужасающую грозу, или это потом по рассказам старших она себе навообразила пылающее в ночи прекрасное и страшное дерево.

Единственным каменным, в смысле кирпичным, строением в Колдунах был дом Егора Богучарова, где и родилась Александра Егоровна; потом там располагалось правление, потом клуб, а в брежневские годы — магазин. Завмагом там

довольно долго проработала Маргарита Сергеевна, пока однажды ревизоры-инкогнито не поймали ее на каких-то жульничествах. Свергнутая королева Марго, как ее лести-во называли окрестные пьяницы и алкоголики, была даже заключена под стражу, но вскоре выпущена — то ли, как она утверждала, «за отсутствием состава преступления», то ли, как поговаривали, откупилась, доподлинно никому неизвестно, но с тех пор Сапрыкину стали, естественно, называть в деревне Тюремщицей — правда, только за глаза, уж очень крут был Маргаритин нрав, лих язык, а рука тяжеленька и скоро на расправу.

После этих неприятностей труды и дни Маргариты Сергеевны посвящены были исключительно частному сектору — приусадебному участку, где успехов она добилась невероятных, прямо-таки мичуринских, мясомолочному производству, ну и, конечно, самогонварению — почти что в промышленных масштабах. Надо отдать ей должное, тут она ни капельки не жульничала — питье было крепчайшим и почище любой казенной водки, ничего не скажешь, что молодец, то молодец.

Да она и сама была еще вполне ничего себе, за собой следила, накручивалась на бигуди, даже и не скажешь что бабе под шестьдесят, высокая, дородная, груди — во! ну и зад и, как пишет Бунин, «все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово» тоже — ого-го! В общем, воплощала и олицетворяла собой Жориково бессмысленное восклицание — «едрён-батон!».

Неудивительно, что дурачок Жора, когда впервые увидел этот торчащий над грядками величественный зад, не ведая, какой опасности подвергается, даже решил приударить и спел ей хулиганскую песню:

Какие у вас ляжки,
Какие буфера!
Давайте с вами ляжем
Часа на полтора!

Ой, что было! Вспоминать страшно.

Жорик, впрочем, случая этого нисколько не смущается; когда ему напоминают о позорном бегстве через всю деревню под градом пинков и тумачков, он только ухмыляется и говорит, как Яшка-Цыган из «Неуловимых»: «Кобылка хотя необъезженная, да видать чистых кровей!» Он и сейчас продолжает иногда строить Маргарите куры, но из безопасного далека — то споет: «Ты целуй меня везде, я ведь взрослая уже!», то сладким фальшивым голоском зазывает из-за забора: «Ритуси-и-к! Риточка Сергевна-а-а!»

— Я те дам Ритусик, черт пьяный!

— Госпожа Сапрыкина-а-а!

— Да что ж ты пристал-то, ну что ж тебе надо, гад ты такой?!

— Скажи «Аврора-а-а»!

— Чего?!

— Аврора!

Изумленная Сапрыкина на пару секунд немеет.

— Рио-Рита, ну скажи, пожалуйста, «Аврора!»

— Да на кой... Ну Аврора.

— Снимай трусы без разговора!!! — радостно выпаливает Жорик и уносится прочь, визжа от восторга.

Сапрыкина давно уже была женщина (язык все-таки не поворачивается назвать ее старухой) одинокая. Разведенкой ее тоже называть не хочется — коннотации у этого слова

больно непристойные и обидные, а Маргарита Сергеевна ни в чем таком замечена не была, она и мужика-то своего прогнала не столько за то, что пил и бездельничал на ее трудовые и нетрудовые доходы, сколько по подозрению в супружеской измене. Старшую, непокорную дочь она тоже разогнала и уже много лет не общается с ней, а вот младший, почтительный сынок, рыбакающий где-то в Приморском крае, — истинное материнское утешение: и денег шлет, и подарки дорогие делает, и приезжает — с Дальнего-то Востока! — чуть не каждый год! Жена только у него, конечно, дура и урод, глаза б не видели! ну так ей вполне хватило одного отпуска у свекрови. Больше она сюда ни ногой!

Ну вот, как я, кажется, уже говорил, с осени до поздней весны в Колдунах оставались только эти три жителя — Егоровна, Тюремщица и, последние две зимы, Жора.

Да и летом из коренных-то деревенских много ли приезжало? Раз-два да обчелся. Ну Тупицыны, ну Быки, ну Харчевниковы... Ну Аркадий Петрович — хоть и не наш родом, но уж так давно живет... А кто еще? Всё. Ну да, всё. Кто померли, кто переехали в город, или еще куда, кто продали родную избу городским дачникам, в общем, не деревня, а коттеджный какой-то поселок. Не элитный, конечно.

Да вот еще, совсем забыл, воду из колодца использовали только для полива и стирки, на вкус она давно стала какой-то противной, да и санэпидемстанция еще в 87-м предупредила — плохая вода. За чистой и вкусной водой надо было идти к лесному роднику — довольно далеко, с ведрами-то умаешься. Приходилось Егоровне нанимать бесстыжего Жору — то за бутылочку, то за считанные пенсионные рублики. А куда денешься? У него же, нахала, что ни попросишь — один от-

вет: «Литр! Литр и ни грамма меньше! Клянусь честью, мадам-мазель!». Где только набрался обезьянства этого, шалапут.

Литр не литр, а грамм сто пятьдесят («сто пэздесят» как говорил Жора) вынь да положь! Слава богу, Егоровне двухведерного пластмассового бидона хватало надолго, ну а колодезную воду она пока еще и сама могла наносить, потихонечку, по полведра.

4. ПРЕДАТЕЛЬСТВО

*Я все имел, лишился вдруг всего;
Лишь начал сон... исчезло сновиденье!*
Евгений Абрамович Баратынский

Было бы бессовестно и жестоко обвинять в этом вероломном предательстве Лизу — уж она-то, будь хоть немного ее воля, ни за что не бросила бы свою ненаглядную Ладушку. Но что же могла поделать маленькая и зашуганная девочка — только плакать. (Я, правда, сейчас с невольным содроганием представил в этой ситуации и в этом возрасте свою Сашку и понял, что мало бы тогда никому не показалась — и каково бы ни было излюбленное ею животное, оно бы с неизбежностью воцарилось в коньковской однокомнатной квартире.)

Да и Зоя Геннадиевна, хотя и является, конечно же, безмозглой и бессердечной тварью и настоящей, в отличие от Лады, сучкой, но в предательстве как раз совершенно неповинна — она ведь никогда и не обещала взять беспородную и надоедливую дворняжку на свою элитную городскую жилплощадь с евроремонт и мебелью в стиле Луи Четырнадцатого, на свои блистающие паркетные, на которых и сиволапый-то муж, объевшийся груш, и неказистая дочка всегда казались неуместными и ежесекундно раздражали своей вопиющей нестильностью и непрезентабельностью.

Так что трусом и предателем у нас оказывается не кто иной как капитан милиции — здоровнейший мужичина, кандидат, между прочим, в мастера спорта по самбо.

Ах, капитан, мой капитан, что же ты так, как последний салабон, позорно дрейфишь?

Ну взгляни же, взгляни на сморщенную в беззвучном плаче мордочку капитанской дочки, ну взгляни же на ничего не понимающую, но встревоженную Ладку, склоняющую недоуменную голову то на один бок, то на другой!

Ну же, ваши действия, гражданин начальник?!

Ну что б тебе, услышав визгливое: «Только через мой труп!», не процедить сквозь зубы: «Ну что ж, через труп так через труп!», и не выхватить вороненое табельное оружие, и не открыть огонь на поражение? Ну хотя бы сделать предупредительный выстрел в воздух? Что б тебе не гаркнуть в сердцах свою любимую фразу из сериала «Охота наоборотня», которой ты привык леденить кровь в жилах жалких правонарушителей и вверенного тебе личного состава: «Лимиты терпения исчерпаны!»? Ужели еще не исчерпала лимиты эта крашенная падла?!

Эх, Леха, Леха!

Говнюк ты, а не капитан!

Но каким бы малодушным дерьмом ни был папа Лизы, все-таки просто так бросить несчастного песика на глазах зареванной дочери даже он, конечно, был не способен. Оставался единственный выход — всучить злосчастную Ладку соседке, которой, как вы понимаете, и была Александра Егоровна. Просить о чем-нибудь таком Сапрыкину было бы сумасшествием, тем более что Зойка недавно из-за какой-то ерунды схлестнулась с Маргаритой Сергевной, и дело дошло до матюков и чуть ли не до рукоприкладства, да и про себя Леха узнал много неожиданного и обидного, пока оттаскивал багровую супругу под насмешливые крики Тюремщицы...

— Здравствуй, баб Шура.

— Да уж видались сегодня.

— Баб Шур...

— Чего, Леш?

— Тут такое дело... Мы сегодня уезжаем... и это... Ну, в общем, мы собаку... ну, в город взять не можем!

— А что это так?

(Ох, ехидничала Александра Егоровна, все ведь она слышала, весь харчевниковский скандал, во всяком случае все, что провизжала Зойка.)

— Ну, нет условий.

— Угу. Без условий и впрямь куда ж...

— Так я вот что подумал... Может, ты ее это... до лета только... может, взяла бы?

— Да ты что, Леш? Нет, зачем же мне собака. Мне этого не надо, куда она мне.

— Да она послушная, хорошая. Ласковая такая... Корма я бы оставил почти целый вон мешок.

— Да не хочу я. Ни к чему это... Собак только мне чужих не хватало еще!

— А я б заплатил, баб Шура, вот, — капитан торопливо стал тащить из заднего кармана чересчур тесных для его курдюка брюк толстый бумажник.

— Да не нужны мне твои деньги... Вот еще новости... Ой, а что это? Доллары?

— Да нет, баб Шур, нормальные рубли, какие доллары... Вот видишь — пять тысяч.

— Ишь ты!

Егоровна с детским любопытством смотрела на невиданную красную бумажку в Лехиной ручище. Пять тысяч! Легко сказать! И зашептал ей на ушко бесенок-соблазнитель, и встали перед внутренним ее взором черные лакирован-

ные туфельки-лодочки, какие купил Сапрыкиной богатый дальневосточный сын, и защемила сердце тайная, несбыточная и грешная мечта. И то сказать — совсем ведь никакой приличной обуви у Егоровны не осталось, даже стыдно в таком рванье ходить, особенно летом, на людях. А с другой стороны — чего уж ей форсить-то. А вот уют новый неплохо было бы купить, заместо перегоревшего, а то замучишься ведь на печке-то его разогреть...

— Ну так что, баб Шур? Я приведу, собачку, а?

— Приведу... Ишь ты, быстрый какой... Только в дом не пушу, так и знай! Она там и Барсика еще задерет. Вон от Цыгана конура осталась, там пусть и зимует, ничего ей не делается.

— Да конечно, конечно! Ничего страшного, она же вон меховая какая! И она не кусачая совсем, ласковая!

— Ни к чему мне ее ласки... Ласковая... До лета пусть живет. Гляди, Лешка, только до лета!

— До лета, до лета, баб Шура! А то жалко все-таки... Ох, спасибо тебе, выручила. Прямо тяжесть свалилась с плеч.

— Тяжесть-то твоя, она при тебе остается, — еще раз съехидничала Егоровна, но капитан сделал вид, что не услышал и не понял.

5. СОПЕРНИК

*Я все перескажу: Буюнов, мой сосед,
Имя свое проживший в восемь лет
С цыганками, с б...ми, в трактирах с плясунами,
Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Растрепанный, в пуху, в картузе с козырьком,
Пришел, — и понесло повсюду кабаком.*

Василий Львович Пушкин

Спустя два дня после отчаянного бегства нашей заглавной героини, Александра Егоровна и Маргарита Сергеевна сидели на полусломанной скамейке у гогошинского дома, греясь на сентябрьском солнышке и поджидая автолавку — безо всякой надежды, но и без ропота, просто по заведенной традиции.

Летом эта блуждающая, как честертоновский кабак, торговая точка приезжала как часы — два раза в неделю, а иногда предприимчивый азербайджанец пригонял ее даже чаще, а вот осенью и зимой, хотя официально автолавка должна была появляться каждую среду, но на деле до середины мая товары народного потребления доставлялись в Колдуны от силы раз в месяц — и то только потому, что на этом же автобусике по договоренности с собесом приезжала конопатая девушка, привозящая старухам пенсию. И то сказать — никакого экономического смысла жечь бензин и гробить машину ради двух прижимистых старух и одного безденежного алкаша не было.

— А чо это Жоры давно не видно? — без особого интереса спросила баба Шура.

— А ты соскучилась? Да чтоб его вообще черти побрали, паскуду!

— Ну что уж ты... черти... Ругательница ты какая, Рита.

— А что ж его, ангелы, что ли, унесут-то, паршивца такого? Да вон гляди, легок на помине, красавец. Пса какого-то тащит.

Не какого-то и не пса, а мою злосчастную Ладу вел по деревне на обрывке бельевой веревки неунывающий и хмельной Жорик.

— Ой, да это ж Лада! Где ж ты ее нашел-то? — обрадовалась Александра Егоровна, которая ужасно переживала и расстраивалась все это время, что деньги-то взяла, а собаку и не уберегла.

— Где-где! В Улан-Удэ! В питомнике, естественно!

— В каком питомнике?!

— Для служебных спецсобак, дярёвня! Бешеные бабки отвалил. Кличка — Рекс! Собака-убийца! Перегрызает кадык на раз! Челюсти развивают давление в тыщу атмосфер. Как тираннозавр, блин. И что характерно — запрещенная на территории Российской Федерации порода — еврейская овчарка. Видал, какие глаза?

Глаза действительно были печальные. Лишившаяся от изумления дара речи, Егоровна наконец вымолвила:

— Да это ж Лада!

— Хренада!.. Хренадская волость в Испании есть...

— В какой Испании? Харчевниковская же собака!

— Вас ис дас «харчевниковская»? Не понимэ!

— Полно ваньку-то валять! Что тут не понимэ! Отдавай пса! — вступилась Сапрыкина.

— Нельзя, Ритусик! Это ж друг человека. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит... Мы в ответе за тех, кого приручили!

— Да когда ж ты ее приручил-то?

— Короче-мороче! Кабыздох мой!

В лекциях по русской литературе В. В. Набоков снисходительно пеняет И. С. Тургеневу за то, что создатель «Муму» чересчур уж часто в своих романах прерывает нить повествования, чтобы рассказать читателям о предыдущей жизни каждого нового персонажа. Резон в таких придириках, может быть, и есть, но уж мне-то как начинающему прозаику подобная повествовательная неуклюжесть, безусловно, простительна, не говоря уж о том, что, может, это вообще такая сознательная и тончайшая стилизация, — попробуйте-ка доказать обратное!

По определению Егоровны Жорик был «озорь, ох и озорь же!», Маргарита же Сергеевна квалифицировала его жестче и, пожалуй, точнее — хулиган и дармоед. Сам я в раннем детстве его очень страшился и втайне им восхищался, в отрочестве и юности — боялся и ненавидел до дрожи, и только в армии, приглядевшись, не то чтобы совсем перестал опасаться или полюбил, но как-то заинтересовался и даже залюбовался им, во всяком случае на втором году службы, когда он меня уже не мог мучить и унижать.

Ну вот, например, история с работой В. И. Ленина «Что делать?». Эта брошюрка вместе с другими такими же ритуальными изданиями годами спокойно лежала в Ленинской комнате, пока на нее не упал взгляд томящегося от преддембельской скуки Жорика. Вспомнив дошкольную шутку, этот ефрейтор тут же написал на обложке ответ на ленинский вопрос — «Снять штаны и бегать!».

Майор Пузырьков через несколько дней обнаружил эту кощунственную надпись и, будучи существом тупым и злобным (кстати, совсем не все политработники были таковы, встречались и вполне себе симпатичные дядьки), предпринял собственное расследование, дабы выявить и наказать святотатца. Для этого, собрав у всей роты тетради с конспектами предписанных ГлавПУРОм ленинских трудов (сейчас могу припомнить только «Все на борьбу с Деникиным!»), Пузырьков засел за графологическую экспертизу. Но выследить Жорика он, конечно, не смог; более того — ему открылось такое ужасное и обидное издевательство над всей системой политического воспитания военнослужащих срочной службы, что дурацкая выходка Жоры отступила на задний план. Потому что конспекты черпаков и дедов (бойцов первого года службы Пузырьков не проверял — даже ему было понятно, что им пока не до шуток) все без исключения оказались писаны одной рукой — рукой несчастного салаги Цимбалюка, который на допросе порол совершенную чушь, утверждая, что никто его не заставлял, а просто он сам так любит конспектировать, что вызвался помочь товарищам старослужащим. Деды и черпаки, среди которых был и я, дружно подтвердили эту версию, доведя Пузырькова до полного умоисступления.

Или вот еще картинка — из моего отрочества. Мы с папой гостим в станице Змейской у дяди Заурбека. Заходим в местный книжный магазин. Вслед за нами Жора — да еще какой великолепный — в темных пластмассовых очках, в завязанной выше пупа цветастой рубашке, в клешах ширины необычайной — в общем, сущий волк из «Ну, погоди!». Достав и развернув тетрадный листок, он, сверяясь с написанным, обращается к продавщице:

- «Яма»?
- Что?
- Книга «Яма»?
- Нету.
- Книга «Декамерон»?
- Нет.
- «Нана Золя»?
- Нет.
- Та-а-к. «Итальянская новелла эпохи Возрождения»?
- Нет.
- «Советы молодым супругам»? Тоже нет? Да что ж у вас есть?! Вот так магазинчик!

В Колдунах Жора появился два года назад, в начале лета, сразу после смерти старика Девяткина, чью покосившуюся и страшно захламленную избушку никому неведомые наследники продали каким-то, как утверждала Сапрыкина, «черным риэлторам», которые и вселили в нее так и оставшегося безымянным дедушку-алкоголика и Жору, очевидно, купив у них за бесценок городское жилье. Дедок тихонько пропивал полученные денежки, никуда практически не выходя из девяткинской избушки, Жора же мгновенно со всеми перезнакомился, со многими выпил и подружился и через три дня впервые был бит Быками — тремя братьями Голощатовыми, прозванными так за соответствующие телосложение, темперамент и мировоззрение. Сначала Жорик, про которого рядовой Масич еще на первом году службы справедливо заметил: «Без п...юлей как без пряников», похаживал мимо «бычьего» дома, распевая: «Тореадор, смелее в бой», но эта тонкая шутка была не понята, поэтому на-

смешник перешел к менее изысканным дразнилкам — от «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу» до простого, но громкого мычания, каковое и послужило причиной избения. Вообще Жору, неутомимого искателя приключений на собственную задницу, били довольно часто, но моральная победа оставалась неизменно за ним, поскольку, поднявшись с земли и утирая кровавые сопли, он всегда умудрялся произнести нужные слова с нужной интонацией. Например, презрительное: «Ладно, живи! Сёдня День защиты насекомых!» Или устрашающе-мужественное: «Врешь, падла! Жора на мокруху не пойдет!» Иногда он использовал не очень понятное, но эффектное, услышанное от облитого пивом в привокзальной шашлычной интеллигента, — «Думали оскорбить — удручили!» А Быкам он вообще сказал, как Терминатор-1: «Айл би бэк!» Но вот тут как раз вышла накладочка, потому что младший Бык взревел: «Я те, б..., покажу “бэбек”!» и снова отправил Жору в нокдаун.

А на пятые сутки своего проживания в выморочной лачуге пришлые алканавты перед рассветом устроили пожар, чуть было не спаливший всю деревню. Слава богу, именно в этот час в Колдуны въезжал на такси сапрыкинский сын. Мертвецки пьяных обитателей избушки удалось вовремя вытащить, но сам домик сгорел дотла, не дождавшись приехавшей через полтора часа пожарной команды из Вознесенска. Жору сильно побил старший Бык, самый неистовый, несмотря на пенсионный возраст, из братьев. Огреб же мой бессмысленный приятель не столько за сам поджог, сколько за циничный восторг, с которым он, глядя на пылающую кровлю, воскликнул: «Ну, блин! Огненная феерия!».

На следующий день погорельцы исчезли: старик навсегда, а Жора до поздней осени, когда тишину ранних ноябрьских сумерек неожиданно осквернило дребезжанье нестройшей гитары, и глумливый голос проорал на всю безлюдную, темную деревню:

Когда меня мать рожала,
Вся милиция дрожала!

Ну, милиция-то вряд ли, а вот сердечко Александры Егоровны затрепетало как осиновый лист, да и неукротимая Тюремщица вздрогнула и приготовилась к худшему. И совершенно, надо сказать, напрасно. Возвращение блудного Жорика ничем не грозило одиноким обитательницам Колдунов. Наоборот — с ним стало все-таки повеселее, каждый день что-нибудь отчебучит. Он ведь вообще-то сам по себе создание, ей-богу, безобидное и добродушное, если только по дурасти и повадливости не подчиняется чьей-нибудь действительно преступной и злой воле, или моде, или идеологии. К несчастью, такая воля и такая идеология, как правило, оказываются тут как тут.

Поселился Жорик в заброшенном магазине, вернее в подсобке, приспособил какую-то дырявую железную бочку вместо печи и зажил себе звериным обычаем, как какой-то пещерный или снежный человек, нисколько, впрочем, не унывая и припеваючи, то есть горланя с утра до ночи, как пожарники у Ильфа и Петрова, «нарочито противным голосом».

По-настоящему отравляло жизнь старух и было и впрямь несносно, особенно на первых порах, именно это непрерывное пенье и бряцание на лишенной третьей струны неведомо где надыбанной гитаре.

Александра Егоровна как-то, не выдержав, робко заметила:
— Что-то не в лад совсем.

— Не в лад! Поцелуй кобылу в зад! Чо б понимала! Колхоз «Красный лапоть»! Да я у Стаса Намина в первом составе играл! На басу... Я просто барэ теперь брать не могу. Видала? — И Жора сунул под нос Егоровне обрубок указательного пальца с вытатуированным перстнем. — Под Кандагаром отстрелили!

И тут же ударил по струнам и завыл:

Когда я в душманском зиндане сидел
И помощи ждал от пустыни,
Какой-то козел, салабон, самострел,
С подругой моей мял простыни!

И, не останавливаясь, перешел к другой песне о совсем другой войне:

Мы придем, увенчанные славой,
С орденами на блатной груди!
И тогда на площади на главной
Ты меня, дешевая, не жди!
И тогда на площади, на главной
Ты...

Но и эту песню счел недостаточно пафосной и неожиданно грянул:

Офицеры! Россияне!
Пусть свобода воссияет!

Перепутанному Чебуреку, впрочем, свое увечье он объяснял впоследствии несколько иначе: «Гляди, Талибан, что твои якудзы со мной сделали!»

Такое творческое и вдохновенное отношение к реальности делает немыслимо трудной задачу жизнеописания Жоры. Мотал ли он действительно срок, и если да, то сколько раз и по каким статьям? То получалось, что он из ревности убил одним выстрелом жену-фотомоделю и ее армянина-любовника, то что он был знаменитым киллером по кличке Рикошет, которого разыскивает не только МУР, но и Интерпол, и даже ФБР, то вдруг сообщалось, что он вор в законе и наследник самого Япончика, а то, совсем уж неожиданно, выходило, что Жорик никакой не урка, а, напротив, бывший лучший опер убойного отдела, скрывающийся в Колдунах от мести кровавой цыганской наркомафии и оборотней в погонах. Или что он мастер спорта по кунфу, не рассчитавший силу и уложивший на месте трех ментов, пристававших к слепой девушке-певице в ресторане «Садко». Во всяком случае в Колдунах никаких особо криминальных наклонностей Жорик ни разу не проявил, замечен был только в мелких и глупых хищениях, что пристало, конечно, не кровавому Рикошету, а обыкновенному деревенскому «заворую».

Да даже и с национальностью его не все было очевидно. Вроде как русский, но слишком уж вертлявый, маленький, чернявенький, глаза слишком навывкате, а шнобель такой огромный и такой горбатый, каких у нас по деревням не видано — не слышано, да еще кучерявая прическа — как у историка Радзинского, хотя и не такого изысканного цвета. Сапрыкина, которую на мякине не проведешь, заподозрила неладное и решила, что парень, видно, не без прожиди,

и даже несколько раз в сердцах обозвала его англосаксом. Она ведь была уверена, наслушавшись телевизионных обличений, что англосаксы — это такое культурное и научное название тех же жидомасонов. Но Егоровна с этой версией Жориного происхождения не согласилась: «Да где ж ты видала, чтоб яврей так пил да безобразил!»

О святая простота! Пьют, тетя Шура, пьют еще как, не хуже русских и осетин, и, между прочим, безобразничают некоторые нисколько не меньше, уж ты мне поверь!

Да и возраст нашего героя тоже был не совсем ясен — может, тридцать пять, а может, и весь полтинник, никак не разберешь по пропитой и морщинистой от вечного обезьяничанья роже.

В общем, если вам уж так хочется представить себе внешность моего беспутного героя, вообразите себе, пожалуйста, Петрушку Рататуя, ярмарочного Петра Петровича Уксосова, издевающегося над голым барином и немцем-перцем-колбасой и называющего дубинку русской скрипкой, — вот на кого был похож наш хулиган, так что подозрения Маргариты Сергевны оказываются абсолютно беспочвенными: кукла эта вполне великорусская, хотя и очень похожая и на Пульчинеллу, и на Панча. А если приставить рожки и добавить еще немного красноты Жориковой физиономии, получится другой персонаж итальянского театра кукол — Diavolo, ну или, если угодно, классический козлоногий фавн.

Этический облик этого российского сатира полностью обрисовывался его излюбленной частушкой:

Не е...и мозга мозгу,
Я работать не могу!

И вправду не мог, и не только потому, что лень-матушка родилась раньше, но и потому, что загребушие Жориковы руки росли, по утверждению Сапрыкиной, из жопы, а вот язык зато был не то чтобы хорошо подвешен, но совершенно без костей и без тормозов.

Следует, я думаю, отметить, что Жора являлся таким стихийным постмодернистом, то есть изъяснялся исключительно цитатами, правда не книжными, а все больше киношными, телевизионными и фольклорными, и, как многие именитые постмодернисты, нисколько не был озабочен тем, что ни происхождение этих цитат, ни их смысл собеседнику зачастую неведомы. Конечно, когда он, опрокинув стакашек, заявлял, что «водку клюшница делала», это было всем понятно, но представьте недоумение Сапрыкиной, услышавшей от купившего у нее шкалик самогонки Жорика: «Распутин должен быть изображен два раза!» да еще с дурацким немецким акцентом! Иногда, впрочем, Жора цитировал и литературную классику: например, после того как компания положительно решала вопрос «Не послать ли нам гонца за бутылочкой винца?», он, завязывая шнурки, неизменно декламировал: «И он послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом!».

И, конечно же, как многие поколения русских забулдыг и мелкой шпаны, неизменно уверял собутыльниц и случайных попутчиц, что это он раньше был «весь как запущенный сад, был на женщин и зелие падкий», а ныне как раз наоборот — «запел про любовь и отрекается скандалить».

Ну и «Луку Мудищева», ясен пень, знал назубок, от начала до конца, как «Отче наш».

То, что Жора представлял собой советский, удешевленный и суррогатный, вариант Ноздрева-Хлестакова, — это

само собой, тут не о чем и говорить, но мне иногда, в минуты сентиментальной расслабленности и маниловской мечтательности, представляется, что, воспитай его не пьющая-гуляющая мамаша на фабричной окраине, а какие-нибудь викторианские тетушки, мог бы из него вырасти такой же очаровательный оболтус, как Берти Вустер или, скажем, любитель искрометного вина и возвышенной поэзии мистер Свивеллер. Да хотя бы и Барт Симпсон.

Ну а так он, конечно, больше всего напоминал того страшненького парнишку из оденовского «Щита Ахиллеса»:

That girls are raped, that two boys knife a third
Were axioms to him, who'd never heard
Of any world where promises were kept,
Or one could weep because another wept.*

* Перевода я не нашел, поэтому привожу свою, совсем уж вольную, вариацию:

То, что все бабы б...и, а лежачего долго бьют,
Не требует доказательств для того, кто родился тут,
Кто и слыхом не слышал о царствии том невозможном,
Где плачущие блаженны, обетованье неложно.

6. ВЫБОР ЛАДЫ

*Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят.
Оба смело и свободно
В очи прямо ей глядят.
Блещут оба красотою,
Оба сердцем горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.*

*Жизни им она дороже
И, как слава, им мила;
Но один ей мил — кого же
Дева сердцем избрала?
Александр Сергеевич Пушкин*

— Но-но-но! Руки прочь! Ща спущу Рекса, обе без кадыков останетесь! Рекс, фас! — куражился хмельной бесстыдник.

— Каких кадыков?! Какой на х...р Рекс?! Это ж сука!

— Сама ты... Во блин, и правда... Эх, Рекс, Рекс! Как же ты так, братуха? Вот беда-то... Ну ничего, ничего... Не ссы, Капустин... Еще лучше даже! Будем заводчиками.

— Отдавай собаку, сволочь!

— Рит, а может и правда... — робко вступила баба Шура.

— Что еще правда?

— Может, не Лада? Какая-то она вроде не такая...

Ладу действительно нелегко было узнать в этом замызганном, жалком животном с прижатыми ушами и поджатым

хвостом. Боялась она в данный момент, конечно, не Жорика, с которым, признав в нем брата по разуму, уже вполне поладила, и не Егоровну (уж ее-то ни одно живое существо бы не испугалось), а большую и крикливую Тюремщицу.

— Да ты в уме ль, старая? Вон же на ошейнике — Лада!

На ошейнике действительно еще сохранялась старательная фломастерная надпись с именем собаки и капитанским телефоном.

— Ничего не доказывает. На сарае х... написано... И вообще, я, блин, добросовестный приобретатель!.. Без рук, Ритусик, только без рук!.. Пусть сама решает!

— Кто решает?!

— Сама... Рекс!

— Господи, да что ж за дурак за такой!

— Я дурак, а ты рабочий, я нас...л, а ты ворочай! — машинально отреагировал Жора и получил наконец давно заслуженную звонкую затрещину.

Лада, хранящая до этого момента настороженное молчание, зашла в испуганном лае. Сапрыкина попятилась.

— Ага! Очко-то не железное? Молодец, Рекс, молодец! Благодарю за службу! Будете представлены к награде!

Тут Александра Егоровна решила-таки воззвать к разуму и совести:

— Жор, ну правда! Ну отдай собачку. Ну на кой она тебе? Я ведь Лешке пообещала, ну вот придет он, что я ему скажу?

— Что-о-о?! Менту лучшего друга сдать?! Менту?! Тебе б отдал, Егоровна, вот б...я буду, но менту!.. Да я ее лучше своей рукой... Я тебя породил, я тебя и...

— Это я тебя убью сейчас, рожа твоя бесстыжая!

Если б Сапрыкина была менее яростной, а Егоровна более циничной, им было бы совсем не трудно сообразить, что от силы часа через полтора, когда наступит неизбежное похмелье, Жора сдаст кого угодно и кому угодно за сто миллилитров любой спиртосодержащей жидкости. Но Маргарита Сергеевна слишком жаждала немедленной справедливости, Егоровна была чересчур удручена и доверчива, а Жора уж очень расшалился и стал нести уже какую-то запредельную ахинею о неотъемлемых правах собачьей личности.

Выбор оставался за Ладой.

И вот баба Шура и Жора, словно Пушкин с Дантесом, встали на равном расстоянии от Сапрыкиной (якобы равном — отмерял-то Жора), держащей на замусоленной веревке вновь притихшую злосчастную собачку.

— По счету три — зовите. Раз! Два! Три!

— Лада! — жалко пискнула Александра Егоровна.

А бессовестный Жора и не думал звать придуманного Рекса. Присев на корточки он зачмокал губами и засюсюкал: «Лада, Лада, Лада! На!». И подло протянул в сторону спущенной с веревки героини огрызок краковской колбасы, которая, кстати, и послужила поводом для знакомства Жоры и Лады у ильинского продмага.

И в очередной раз в истории нашего падшего мира наглый материализм и бессовестная ложь одержали победу! И в очередной раз — утешьтесь — победа эта была не окончательной и не вечной, хотя и очень обидной и болезненной.

Конечно, возмущенная Сапрыкина заставила Жору все переиграть еще раз, обязала его даже кричать «Рекс», но выбор-то уже был сделан, и колбасой все еще пахло.

Егоровна, как честный человек, признала поражение и не пыталась уже урезонить торжествующего хулигана.

Тюремщица, обругав всех участников поединка, включая Ладу, последними словами, пригрозив различной тяжести карами, отправилась домой утешаться сериалом «Пахан-3», баба Шура чуть не плача осталась одиноко сидеть на своей давно скособочившейся скамейке, Жора, торжествуя, вел Ладу к своему логову, шутовски печатал строевой шаг и орал дембельский марш «Прощание славянки»: «Лица дышат отвагой и гордостью, под ногами гудит полигон», а время между тем шло и шло, и момент похмельной истины неумолимо приближался.

7. НОВАЯ ЖИЗНЬ

*Услышь, услышь меня, о Счастье!
И, солнце как сквозь бурь, ненастье,
Так на меня и ты взгляни;
Прошу, молю тебя умильно,
Мою ты участь премени;
Ведь всемогуще ты и сильно
Творить добро из самых зол;
От божеской твоей десницы
Гудок гудит на тон скрипицы
И вьется локоном хохол.*

Гаврила Романович Державин

Некогда классик французской литературы Стендаль, выказывая острый галльский смысл, разработал теорию кристаллизации любви, то есть уподобил развитие этого чувства следующему химическому процессу: «Если в соляные копи Зальцбурга бросить веточку и вытащить ее на следующий день, то она оказывается преобразенной. Скромная частица растительного мира покрывается ослепительными кристаллами, вязь которых придает ей дивную красоту». И хотя философ Ортега-и-Гассет пренебрежительно опровергает эту теорию, и даже намекает на малую осведомленность автора «Пармской обители» в этом вопросе, но сама метафора мне все-таки кажется точной и многое объясняющей.

Обида ли на жуликоватого односельчанина, жалость ли к убогой собачке, досада ли на собственную неспособность постоять за свои права явилась той скромной частицей, ко-

торой предстоит расцвести дивным сиянием, или же Егоровна просто, как Татьяна Ларина, да не покажется это уподобление смешным, «ждала кого-нибудь», чтобы наградить его нерастраченной и невостребованной многие годы нежностью, но процесс пошел. Хотя сама Гогошина еще об этом не догадывалась.

Сокрушенно посидев еще некоторое время на скамеечке, баба Шура вздохнула и, прихрамывая больше обычного и морщась от разболевшейся ноги, пошла домой.

«Вот же дурная какая, — думала она про Ладу, рассеяно глядя гудевшего как трансформатор Барсика. — Ну как же она там будет с этим окламоном? Он-то и сам не знаю на что живет... Надо еду-то ее отнести, что ли... — И тут Баба Шура вспомнила про заветную красненькую бумажку: деньги-то теперь тоже, выходит, не ее, а Жориковы. — Ведь пропьет же в одночасье. И куда ему такие-то деньжища... — Но тут же строго себя оборвала: — А вот это уж не твое дело, чужие деньги жалеть... Да пусть хоть обопьется, прости господи!»

Эх, знал бы Жора, что, потерпи он еще минут пятнадцать, и стал бы обладателем пяти ментовских тысяч! А это ж как минимум двадцать пять литров — и это если магазинной и не самой дешевой водки, а уж сколько самогону — даже подумать страшно! Но, как писал в объяснительной записке мой однополчанин рядовой Дымьянчук: «Напала нетерпячка!».

Трубы горели и звали в поход.

Вообразите же изумление Александры Егоровны, вышедшей уже на крыльцо с мешком собачьего корма, при виде входящих в калитку Жоры с Ладой!

— Егоровна! Купи собаку!

Вот мы б небось задохнулись бы от возмущения и негодования, а бабе Шуре стало смешно.

— А дорого ль берешь, купец именитый?

— Да что, сама видишь, пес породистый, не лает не кусает, а в дом не пускает! Так что меньше литра — никак!

— Собачка знатная, конечно, да вот беда — нету литра-то.

— А сколько есть?

— Ну, стопочку б, может, и налила б!

— Да что ж вы, кровопийцы, творите?! Кулачье недорезанное! На народном горе наживаетесь?!

— Ты сам горе народное, дурень.

— Назовите настоящую цену!

— Настоящая цена и тебе-то самому вместе с собакой — хрен с полтиной. Ну так уж и быть — стакан!

— И закусить. Огурчика там, капусточки...

— А что, колбаску-то всю собачка съела? Как ее кличка-то, я запомнила? Рекс, кажись?

— Харэ, Егоровна! Промедление смерти подобно!

— Ладно уж. Жди здесь! — остановила Егоровна шустро-го Жору, попытавшегося проникнуть в избу и разведать, где припрятана славная гогушинская самогонка.

Вот так Лада, словно арап Петра Великого (если, конечно, верить Булгарину), оказалась вновь у бабы Шуры.

— Ну что? Набегалась? Эх ты, колбасница! — укоризненно обратилась к ней новая хозяйка.

Лада неуверенно помахала хвостом.

— Грязная-то ты какая. Вот мне радость-то собак чужих купать... Ну что тычешься? стыдно?.. Рекс! — хмыкнула Егоровна, а Лада, почувствовав, что на нее не только не злят-

ся, а , кажется, даже наоборот, затыкала и забегала вокруг старушки в ожидании ласки или игры, ну и, конечно, чего-нибудь вкусенького.

Но прежде всего собаку надо было все-таки отмыть. Егоровна достала цинковую ванночку, в которой в свое время купала маленького Ваню, сходила два раза за водой, добавила кипятку, чтобы не застудить Ладу, все это время бегавшую за ней и мешавшуюся под ногами.

— Ну давай, полезай в воду. Не бойся — тепленькая!

Ха! Не бойся! Это ты, Александра Егоровна, поостереглась бы лучше!

Вначале Лада еще все-таки робела и стояла более-менее смирно, позволяя намылить себя хозяйственным мылом, но когда Егоровна иронически, но все-таки ласково приговаривая: «С гуся вода, с Лады худоба», стала ее ополаскивать чистой водой из корца, собачка наша окончательно уверилась, что относятся к ней хорошо и что время наконец порезвиться — возможностей для баловства было, конечно, меньше, чем в приснопамятном бассейне, но и эти ограниченные возможности Лада использовала на все сто процентов. Пытаясь остановить прыгавшую и вертящуюся в воде скользкую собаку, Егоровна, уже сама мокрая с головы до ног, оступилась и села в буквальном смысле в лужу, что только прибавило веселости и прыткости шальной собаке, которая носилась теперь кругами по всем сеням, наскакивая на ошеломленную старушку и вспрыгивая периодически в ванночку, которую в итоге и перевернула, выплеснув остаток мыльной воды.

Ох, как обидно стало Егоровне! Как же вдруг стало себя жалко, как будто эти брызги явились последними, так сказать,

каплями, переполнившими чашу ее долготерпения и покорности, как же защипало глаза — может быть и от мыльной воды. И полились слезы — сначала скупые старушечьи, а потом в три ручья, как у несправедливо обиженного ребенка.

— Свинь-нья ты-ы-ы, а не собака-а-а-а! — прорыдала бедная Сашенька искривленным ртом и, с трудом поднявшись и утирая слезы и мыло, не глядя на неблагодарную сучонку, ушла в горницу и, как какая-нибудь кисейная барышня, бросилась на кровать. Такая вот случилась и на нашу старуху неожиданная проруха.

Те, у кого глаза постоянно на мокром месте, или кто вообще не умеет плакать, не могут себе представить, как странно и сладко было Егоровне дать волю этим копившимся долгие-долгие годы слезам. Неизвестно, сколько это горестно-блаженное забытие длилось, но неожиданно кто-то легко и робко коснулся седого затылка старушки. Испуганно обернувшись, Егоровна увидела устремленный на нее внимательный и печальный карий взор и ощутила теплый, нежный и шершавый язык, лизнувший ей щеку, потом нос, потом очки. «Да ты очумела, что ли, совсем?! Ты куда же залезла, негодница такая?!» Вместо ответа Лада улеглась мокрым брюхом на постель и стала умильно тыкаться носом и поскуливать. И неожиданно для себя самой Александра Егоровна, вместо того чтобы столкнуть зарвавшуюся бесстыдницу и отхлестать ее веником, как это не раз будет в их будущей совместной жизни, улыбнулась сквозь слез и погладила беспутную собачью голову: «Ну? Не стыдно? Ну что подлизываешься теперь? Дура ты, дура!»

С этого момента кристаллизация взаимной любви пошла такими ударными темпами, что вскоре сияние этих само-

цветных кристаллов полностью преобразило житье-бытье в гогошинской избушке. К большому неудовольствию и презрительному недоумению Барсика.

Вы спросите, а как же верность? Что ж так быстро Лада позабыла свою возлюбленную Лизаньку? А я вам отвечу — чем попрекать несчастную и совсем еще молоденькую собачку, на себя лучше оборотитесь, и обратите лучше внимание на бревна в своих глазах, не говоря уж о том бревне, которым корит пушкинская Марфушка Антипьевну...

Ромео вон тоже в начале трагедии был искренне влюблен в другую девушку, что нисколько не помешало ему любить до гроба свою законную супругу.

8. А. Е. ГОГУШИНА, В ДЕВИЧЕСТВЕ БОГУЧАРОВА

'I am Oz, the Great and Terrible.'

'I am Dorothy, the Small and Meek.'

Lyman Frank Baum

Черт догадал Александру Егоровну родиться в стране, «что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета» под властью могущественной ОПГ, известной в криминальной истории под кличкой РСДРП(б), она же ВКП(б), она же КПСС.

Отец тогда еще совсем маленькой Сашеньки, знатный плотник и печник, сеятель и хранитель, а в довершение всех бед еще и церковный староста, погиб в разгар того крошечного кошмара и скотства, которое Иосиф Сталин, куражась над мученичеством отданных ему на поругание людей, назвал «головокружением от успехов», а Михаил Шолохов с небывалой творческой мощью и неподражаемым казацким юмором воспел в образе Макара Нагульнова.

То, что суровая вдова-ктиторша со своими пятью недобитками, женщина, при всей набожности, нравная и не склонная потакать глупостям и гадостям советской власти, лишилась всего только мужнина дома, уворованного коммунарами, и, переехав в родительскую избу к незамужней сестре-горбунье, была оставлена поднимателями целины в относительном покое, объясняется, скорее всего, не остаточным человеколюбием и человекообразием партийно-хозяйственного актива, а наглым и самодовольным головоотяпством или, как выра-

* — Я — Оз, Великий и Ужасный!

— Я — Дороти, маленькая и кроткая.

зился бы Жора, разп...ством. А может, все дело (как в случаях с Пастернаком и Ахматовой) в прихоти упоенного своим долбаным всемогуществом местного пахана.

Во время войны она даже стала стремительно подниматься по служебной колхозной лестнице благодаря трудолюбию, сметливости и к тому времени совершенно уже уникальной честности. И быть бы ей, как героиням Марецкой и Мордюковой, славной председательшей, кабы не жгучая зависть соседа Семена Девяткина, надиктовавшая этому, в общем-то, неплохому мужику, вернувшемуся в 43-м с покалеченной ногой и справедливо уверенному в том, что на безлюдье и Фома дворянин, бесчисленные клеюзы во всевозможные органы и инстанции, положившие конец карьерному росту Сашиной мамы. Но и Семен, впрочем, тоже никаким председателем не стал, а как-то непостижимо быстро спился и умер, так что Бог ему судья.

Из четырех Сашиных старших братьев своей смертью умер — уже при Брежневе — только один, самый старший, краса и гордость Колдунов, ветеран Великой Отечественной и финской, Герой Советского Союза полковник Федор Егорович Богучаров, начштаба танковой дивизии в далеких киргиз-кайсацких степях. С его вдовой Александра Егоровна какое-то время поддерживала связь, поздравляла ее с Новым годом, Восьмым мартом и Днем победы, зазывала погостить, но уже очень, очень давно полковница, оказавшаяся в стране ближнего зарубежья, перестала отвечать на тети-Шурины открытки, а что стало с племянницей и ее двумя детьми, тоже было неизвестно.

Средние братцы, двойняшки Ваня и Егор, погибли в самом начале войны, их похоронки были доставлены в один

день и стали первыми пришедшими в Колдуны, ну а младшенький богучаровский сынок, Леня, тот самый, с которым Саша ловила рыбу и видела лося, сгинул где-то на этапах большого пути из немецко-фашистского в советский концлагерь, чем, между прочим, помешал старшему брату дослужиться до генерала, поскольку геройского фронтовика-танкиста и в Академию не взяли из-за брата-предателя, не говоря уж о контрреволюционном отце, ну и подниматься от звания к званию, особенно в начале карьеры, ему пришлось медленно и с огромным трудом.

Старуха-мать, до конца дней сохранившая ясный ум и сухую, немного надменную статью, не дожидая буквально нескольких месяцев до смерти кремлевского горца, которого пристрастные судьи лишили заслуженного чемпионского звания, отдав — как это часто бывает — предпочтение крикливому эпигону, поэтому Гитлер прославлен как самый большой убийца и ублюдок в мировой истории, а вырастивший и вдохновивший нас Сталин как-то теряется в его тени, и никакой надежды на исправление этой вопиющей несправедливости нет как нет. Понятно, что отрицать всемирно-историческое значение ихнего фюрера могут только такие отморозки, как иранский президент, но все-таки супротив нашего генералиссимуса этот клоун, ей-богу, все равно что плотник супротив столяра.

Воцарившиеся по смерти душегуба всех времен и народов шестерки, тот самый сброд вождей, названных Мандельштамом почему-то тонкошеими, хотя все они как на подбор были мордастыми, как оруэлловские свиньи, уже не так сильно гадили и измывались над нормальными людьми и здравым смыслом. Не то чтобы советская власть, насосав-

шись вдосталь кровушки, отвалилась совсем, ненасытность была имманентным свойством этой пиявицы, просто силы уже были не те — как у шамкающего беззубыми деснами над трепещущей жертвой людоеда или как у прихваченного аденомой простаты насильника...

О господи! Кажется, опять!

Опять я захожусь в припадке «зоологического антикоммунизма», и со вспененных губ готова уже сорваться излюбленная цитата из книги Чисел об оскверненной кровью земле и ее очищении, и снова я намереваюсь гневить Бога жалобами на то, что убийцы не наказаны и даже не опозорены, что их гладенькие внучки-политологи не то что не стыдятся, а пишут толстые двухтомные книжки о жизни и творчестве дедушек, что кремлевская дворня прославляется за бесценный вклад в мировое искусство, за создание «большого стиля» в «непростое время», и что никакого возмездия и раскаяния так и не случилось и не предвидится, как сказала, пожав плечами, Анжелка Каменцева после просмотра знаменитого фильма «Покаяние»: «Какое ж это покаяние? Так, отмазка!»

Ну так и что?

Можно подумать, сам-то я явился на страницы перестроечных периодических изданий из мордовских лагерей, а не из уютенького столичного Института искусствознания!

И хотя дед мой был японским и английским шпионом, разоблаченным и казненным в 1938 году, но отец-то верой-правдой служил начальником политотдела, — как выразился один ветеран на папином юбилее: «Политработник от Бога!»

И ведь уже в шестом классе прочел я данный нам Новый Завет — любить врагов своих и прощать не до семи, но до

семижды семидесяти раз, и, между прочим, произошло это только потому, что папа отобрал Евангелие у какого-то несчастного солдата-баптиста!

А то, что, честно выполнив служебный долг, он и не подумал уничтожить антисоветскую агитацию и пропаганду или хотя бы запретить сыну читать, что «свет во тьме светит, и тьма не объяла его», так это ведь и доказывает, что не была и не могла быть эта чертова власть, как она ни тузилась и ни пыжилась, главным содержанием человеческой жизни, уж жизни Александры Егоровны, по крайней мере, кишка тонка, и все, все, хватит, отвяжись, умоляю, действительно ведь годы прошли и столетья, и написал уже надменный и испуганный эмигрант в 1939 году про все это — про горе, и муки, и стыд, и про то, что:

поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит!..

А то я уже сам себе напоминаю того незабвенного праведного сантехника, который на заре российских свобод чинил нам смеситель в ванной. Починил быстро и наотрез отказался брать деньги. Растроганная Ленка предложила растворимого кофе — тогда, насколько я помню, страшно дефицитного, привезенного мной из щепетильного Лондона. Но войдя на кухню, где я, обуянный социопатией и мизантропией, от него скрывался, удивительный сантехник сразу же помрачнел, утратил любезность, перестал восторгаться Томиком и засобирался восвояси, даже не допив редкого напитка. И уже в дверях укоризненно произнес: «Молодые интеллигентные люди, а на стенку Берию повесили!». Я ошарашенно

промолчал и не сразу понял. На кухонной стене висела тогда фотография пожилого Набокова в пенсне...

Зато в замужестве Александра Егоровна была неправдоподобно счастлива...

Нет, не могу остановиться, все-таки еще одна цитата, из бунинских «Окаянных дней»: «Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выроdkов и шарлатанов»...

А в замужестве Александра Егоровна действительно была неправдоподобно счастлива и утешена, поскольку муж ей достался работающий, любящий, красивый на внешность, непьющий и некурящий, чего я и вам желаю от всего сердца, милые мои читательницы!

Ну не то чтобы Иван Тимофеевич уж совсем не пил. Пил, конечно, и по праздникам, и так, за компанию, но во хмелю был добр, весел и безобиден, как малое дитя, что и нам бы ох как не помешало, дорогие читатели.

Правда, подвыпив, Гогущин часто озорничал, не слушал уговоры лечь уже наконец спать, а вместо этого подхватывал свою маленькую (как говорила ее мама, «чутошную») женушку и, держа ее на весу, принимался кружиться по избе, задевая и опрокидывая табуретки, натываясь на еще неубранный, дребезжащий и звенящий стол и горланя на всю деревню:

Знай, такой другой на свете нет наверняка,
Чтоб навеки покорила сердце моряка.

По морям и океанам мне легко пройти,
Но к такой, как ты, желанной, видно, нет пути.
Прошел чуть не полмира я —
С такой, как ты, не встретился
И думать не додумался,
Что встречу я тебя!

А когда подросток Ванечка, то и его увлекал счастливый и хмельной папаша в вихрь этого зачастую разрушительного вальса, держа визжащего от наслаждения наследника под другой мышкой. А лохматый Цыган за стеной бесился и лаял, и обиженно выл, и рвался с цепи от невыносимого и невыполнимого желания поучаствовать в громоподобном веселье — этого огромного черноморского пса все в семье, конечно, очень любили и даже баловали, но пускать в избу собаку было тогда не принято и неприлично.

Иван Тимофеевич, действительно, в молодости был военным моряком. Повоевать он, правда, так и не успел, несмотря на все мальчишеские попытки надурить военкома, но потом, уже после войны, отслужил верой и правдой четыре года на Черноморском флоте. Вот когда черноморский наш герой приехал на побывку и произвел у коммунистических и колдуновских девчат, как в песне поется, переполох своим огромным, под два метра ростом, лихой бескозыркой, лентами в якорях и грудью хоть и не в медалях, но в блестящих красивых значках, вот в то баснословное лето и случилась любовь у первого на две деревни парня и маленькой Шурки Богучаровой, привыкшей горделиво сдерживать слезы и не показывать вида, когда малолетние колдуновские остроум-

цы глумливо пели за ее спиной: «Моя лилипуточка, приходи ко мне! Побудем минуточку наедине!»

Почему Ваня-моряк выбрал не писанных и статных красавиц, а эту пигалицу, одному Богу известно, а у Него не очень-то об этом спросишь. Ясно одно:

Ни при чем наряды,
Ни при чем фасон,
Ни в одну девчонку, —

кроме богучаровской крошечки-хаврошечки, он не влюбился. Завистливые, злые и бесстыдные языки тут же, конечно, пустили сплетню — мол, другие себя блюли и ничего морячку-ухарю не позволили, а Шурочка-дурочка оказалась давалкой, в тихом-то омуте...

«За своими получше следите, за моей нечего!» — обрывала тогда уже сильно хворая, но еще живая и строгая вдова Богучарова тех, кто осмеливался намекнуть ей на аморальное поведение дочери, а пьяного старика Тупицына (это не кличка, действительно такая настоящая фамилия), совсем уж распустившего свой поганый язык, она так огрела по хребту граблями, что он на следующий день не вышел на работу и долго грозился подать в суд за увечье.

Ну и сам старшина первой статьи пообещал повыдергивать ноги всем, кто будет бесчестить его маленькую возлюбленную, а проверять, сдержит ли Ваня слово, охотников не нашлось.

Более трогательную, нелепую и смешную пару, чем Ваня и Шура, мне трудно представить. Разве что Александр Сергеевич и Наталья Николаевна производили столь же странное впечатление, да и то вряд ли.

Когда, по куртуазным правилам того времени, Ваня набрасывал на худенькие Шурины плечи бушлат, его полы почти касались беленьких праздничных носочков на ногах Сашеньки, а когда он, преодолевая ожесточенное, но немного притворное сопротивление, прижимал ее к своей необъятной груди, девичья макушка оказывалась как раз напротив нижнего угла мерцающего в теплой мгле треугольника тельняшки.

В отличие от Пушкиных любовь их была взаимной и верной.

Так что, когда через два года Ваня окончательно вернулся домой, Шура ему действительно охотно и не задумываясь отдалась, правда уже после свадьбы.

А еще через два года родился младший Ваня, так что моя Александра Егоровна почти как распутинская героиня — жена Ивана, мать Ивана. Правда никого она никогда не убивала и убить бы не смогла, она ведь даже колорадских жуков жалела и истребляла неохотно, хотя доподлинно было известно от Любки Таганцевой, которой рассказал военный попутчик, когда ездила к сестре в Таганрог, что жуки эти — никакая не казнь египетская (на что намекала покойная ктиторша), а совсем наоборот — происки и диверсия американских поджигателей войны, которые под видом пасечников разводят этих прожорливых и неистребимых тварей в специальных ульях!

*Суетен будешь
Ты, человек,
Если забудешь
Краткий свой век.
Время проходит,
Время летит,
Время проводит
Все, что ни льстит.*

Александр Петрович Сумароков

Да что там убогая советская власть! Сама всевластная судьба (Гумберт Гумберт сказал бы Мак-Фатум, Цветаева и Сафо посетовали бы на завистливых богов, мой православный дружок Хохол помянул бы аггелов Князя тьмы и, в сущности, был бы прав, но мы все-таки скажем просто — судьба) не могла долгие десятилетия разрушить маленькую и хрупкую гогушинскую идиллию, хотя неоднократно пыталась. Автор сам невольно поучаствовал в одной из таких попыток, явившись действующим лицом хорошо подготовленной, но так, слава богу, и не состоявшейся трагедии.

Осенью далекого 197* года я, влекомый юношеской гиперсексуальностью, принимаемой и выдаваемой мною за роковую страсть, торопливо и опасно шел по малоосвещенной сельской улице. Предметом моего тогдашнего блудного возбешения была учительница коммунской начальной школы, студентка заочного отделения нашего педа Альбина А. Наша довольно случайная связь завязалась в общеаге, где я проживал уже второй год и куда селили на время сессии

заочников. Обусловлена она была в первую очередь неумеренным потреблением дешевых крепленых вин, а также Альбининым одиночеством (муж-однокурсник был призван в армию), ну и моим провинциальным запоздалым романтизмом. То, что Альбина была замужней дамой и на целых четыре года старше меня, оказалось достаточным основанием для превращения этой курносой и простодушной девочки в женщину-вамп — в моем убогом воображении, конечно. Приведу начало одного из стихотворений, посвященных А. А.:

Сегодня ты придешь, наверное,
Ложь и отчаянье мое,
Повеет древними поверьями
Твое упругое белье.

Упругостью Альбина действительно могла похвастаться, а вот никакой особой лживости в ней, на самом деле, не было (ну если не считать супружеской неверности, а кто ж ее, смехотворную, стал бы считать? Ведь любовь же все-таки! Вольна как птица, законов всех она сильнее etc). Что же касается отчаянья, то причины для него у меня имелись самые веские, но с Альбиной никак не связанные — не сегодня-завтра многотерпеливый деканат должен был таки турнуть меня из института за вопиющие прогулы и академическую задолженность. В общем, картину я являл собой, как писал Розанов по поводу собственного автопортрета, «не из прекрасных», а прямо-таки, на мой теперешний взгляд, омерзительную. Да еще и кудри черные до плеч — бр-р-р!

Вот такое вот очкастое девятнадцатилетнее существо и натолкнулось тем злополучным вечером на группу подвыпивших, но скучающих местных пацанов.

Закурить-то у меня, конечно же, нашлось, но это не надолго отложило неизбежную развязку.

Помните такой глумливый дворовый приемчик — хулиган сначала резко замахивается, а потом быстро протягивает ту же руку как бы для рукопожатия, мол, здорово, зёма? Такие трусишки как я с неизбежностью отскакивают и прикрывают лицо под хохот торжествующей шпаны. А в тот раз я не просто отскочил, я — ох-ох-ох, до сей поры стыдно, особенно от сознания того, что и нынче, не дай бог, поступил бы так же — в общем, задал я самого постыдного и стремительного стрекача. Душа, ушедшая в пятки, придала моим ногам необыкновенную проворность.

Слыша за спиной смех, свист, молвь и топ развеселившихся преследователей, я вылетел на перекресток, где тут же был ослеплен светом фары и отброшен страшным ударом на обочину.

Если бы Александра Егоровна с несвойственной ей твердостью не пресекла очередную попытку кума выпить с Иваном Тимофеевичем стремянную, вполне возможно, Гогошин и не успел бы в последний момент повернуть руль «Урала», и не наслаждались бы вы сейчас, милые читатели, этой книжкой. А так я только был слегка задет коляской. Травмы были вполне совместимые с жизнью — гематома пониже левой ягодицы, ободранное до крови предплечье, расквашенные губы и нос и, судя по всему, сотрясение и без того не очень устойчивого и надежного мозга.

Перепутанный протрезвевший Гогошин под оханье и причитанья Егоровны сгреб меня, вконец ошалевшего от страха,

с придорожной грязи, уложил в коляску и помчался в вознесенскую больницу, хотя для оказания мне скорой помощи вполне хватило бы и местного медпункта.

Однако рассвирепевший Мак-Фатум не собирался так просто сдаваться. Едва мотоцикл выехал на шоссе, как впереди показалась милицейская машина, — помните, они в то время раскрашивались в цвета левитановской золотой осени — желтый с синей полосой?

Мильтоны, увидев такую странную компанию на ночной дороге — окровавленный волосатик в коляске, огромный расхристанный старик за рулем и простоволосая старушка (платок у Егоровны в суматохе развязался и был унесен встречным ветром), заинтересовались и, преодолев привычное нежелание во что либо вмешиваться, остановили наш экипаж.

Тут-то бы и завелось уголовное дело, неизвестно чем кончившееся бы, если б не Александра Егоровна! Не успел никто промолвить ни одного слова, как она, соскочив с мотоцикла, затараторила: «Ой, сыночки, слава богу! Слава богу, что вас встретили! А то прям не знаем... Вот паренька кто-то сбил, в больницу везем! Мы едем, а он, бедненький, лежит! Мы уж думали мертвый, да нет, слава богу, раненый только, живой, живой!»

Тут я, слегка уже очухавшийся, но перепуганный уже просто до потери всякой способности соображать (я и тогда уже ментов боялся чуть больше нормальных хулиганов) заблажил: «Не надо в больницу! Ничего не надо! Пожалуйста! Я в порядке! Все нормально!»

Милицейские уже явно жалели, что черт их дернул ввязаться, на хрен им сдался этот полуночный геморрой?

Поэтому, удостоверившись, что потерпевший не собирается никуда заявлять, в медучреждения обращаться не намерен и охотно принимает приглашение переночевать у своих спасителей, а завтра уберется подобру-поздорову с подведомственной территории, ночной дозор, напоследок пожурив водителя: «Что ж ты, отец, поддатым за руль садишься? Ты уж давай поаккуратней!», отправился по каким-то своим, более неотложным делам.

Александра Егоровна на радостях даже бутылочку нам выставила к позднему ужину, предварительно обработав йодом мои ссадины, и уселась чинить мою джинсовую польскую курточку и шитые мамой расклешенные штаны. Я с непривычки мгновенно опьянел от крепчайшего самогона и слушал, как сквозь туман, хмельные и немного хвастливые рассказы Ивана Матвеевича про сына, который щас в армии, недавно приезжал в отпуск, уже младший сержант, через год вернется, чтобы поступить в строительный институт, а жениться ему еще рано, хотя тупицынская Ольга его ждет не дождется, хорошая девка, но пусть Ванька учится, успеет еще...

— Хватит тебе уж, Вань. Давайте укладывайтесь. Вот, сынок, как смогла зашила... Постирать бы, да не высохнет до завтра, ты уж сам...

Утром, позавтракав удивительными оладушками (интересно, для меня Егоровна расстаралась, или она так всегда баловала своих Ванечек?), я был отвезен на станцию и навсегда уехал (роковая страсть в эту ночь растаяла бесследно, как струйка дыма). Наши с Иваном Тимофеевичем ангелы-хранители, помахав друг другу крылами, тоже расстались навеки, а бес, отвечающий за изничтожение возмутитель-

ного гогушинского счастья, поджав хвост, убрался на время восвояси — штудировать «Письма Баламута», наверное.

Александра Егоровна заставила повинного муженька дать честное слово, что больше он к вину не притронется, и он безукоризненно выполнял обещание целый год, даже чуть дольше — до самой смерти сына Ванечки, дембельнувшегося в мае, поступившего на рабфак в МАИ, поехавшего на отцовском «Урале» катать свою Олю Тупицыну и столкнувшегося с МАЗом.

После похорон Иван Тимофеевич стал пить каждый день и почти каждый час, с каким-то странным, тихим упорством, ничего не отвечая на попреки и мольбы Александры Егоровны, правда всегда покорно и исправно выполняя все ее хозяйственные просьбы. Но если не попросишь — так и будет сидеть сиднем день-деньской, механически наполняя и опорожняя граненую стопочку — самогона-то за время его годичного воздержания скопилось вдосталь.

Ни утешения, ни забвения он в алкоголе не находил и, кажется, не искал. Вид у него был такой, какой бывает у смертельно больного человека, принимающего все в больших дозах уже давно не болеутоляющее лекарство, и в тайне надеющегося, что в таком объеме оно окажется, наконец, ядом.

К сожалению, именно так и оказалось, и годовщину сыновней гибели Александра Егоровна встретила уже вдовой.

Как она смогла пережить все это, я не знаю, и представить мне это невозможно и страшно. С ума не сошла, криком не кричала, истерик никому не закатывала, схоронила, как положено, и стала жить дальше. Весной сажать, летом поливать да пропалывать, осенью собирать урожай. Долгой зимой топить печь и ждать весны.

В общем, по Марксу — «идиотизм деревенской жизни». Идиотизм! В зеркало б поглядел, урод волосатый — вон он где, идиотизм-то настоящий!

Постарела Александра Егоровна в тот год, конечно, сильно. И почему-то почти отнялась левая нога. Потом, правда, Егоровна ее расходила, но маленькая хромота так и осталась. Ну и побаливала иногда, так что обзавелась моя старушка палочкой — Аркадий Петрович отдал ей свою старенькую. Но она старалась все-таки, если нога не сильно болела, ходить без нее, чтоб не набаловаться и не привыкнуть.

Кроме смехотворного чутошного роста, главной особенностью Тетишуриной внешности были глаза — огромные, зелено-голубые и какие-то совсем уж беззащитно добрые. Обладателей такого взгляда раньше принято было насмешливо называть исусиками. И совершенно не важно, что на самом-то деле глаза у Александры Егоровны были довольно маленькие, как и у всех Богучаровых, что это толстенные очки так сильно и красиво увеличивали их: если справедливо утверждение, что глаза — зеркало души, то офтальмология и оптика в данном случае просто исправили досадную недоработку генетики.

Что касается духовно-интеллектуального мира, то нравственная философия бабы Шуры описывалась, во-первых, любимой максимой покойной мамы: «Повадишься пердеть, и в церкви не стерпеть», а во-вторых, соломоновой или го-рацианской убежденностью в том, что

ненасытная алчность,
Страх потерять иль надежда добыть малонужные вещи

есть суетство сует и бесполезное томление духа. Ну а скромные метафизические запросы Ладиной хозяйки вполне удовлетворялись Никео-Цареградским Символом веры, хотя размышлять о его глубинах она за недосугом не привыкла и проникать дерзновенной мыслью в непостижимую тайну триничности Божества считала делом не своего ума.

Еще следует, наверное, отметить, что, в отличие от суровой ктиторши, Александра Егоровна была необыкновенно смешлива, можно сказать хохотушка, но какая-то застенчиво сдержанная, а после того, как рухнул верхний зубопротезный мост, она вообще толком не смеялась, просто поджимала губы и потешно фыркала, что со стороны выглядело сарказмом, хотя уж чего в моей героине совсем не было, так это как раз превозношения и вредности.

Ну что еще? Из живности у Егоровны водился только приبلудный кот Барсик, скотина ей была уже давно не по силам, да и птицу она не стала больше заводить, после того как во всех Колдунах куры и утки с гусями подошли от какой-то непонятной заразы (нет-нет, это было до всякого куриного гриппа). Тогда только у Сапрыкиной выжило несколько несушек — говорят, она их самогоном отпаивала — но, скорей всего, брешут, чего не знают.

А про Барсика что говорить?

Черный, одноглазый, наглый. Крупный довольно.

Я, грешным делом, таких котов не очень люблю, а вот Бодлеру Барсик бы точно понравился — и своей бандитской ленивой грацией, и «задумчивой гордыней»: «как сфинксы древние среди немой пустыни» (перевод И. Лихачева).

10. МЕЛАНКОЛИЯ

*Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят;
Лишь вдали красуются, там, на дне долин,
Кисти ярко-красные вянущих рябин.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму,
В очи тебе глядящи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.*

Алексей Константинович Толстой

Осень наступила золотая, но очень уж, по мнению Александры Егоровны, мокрая. Ну тут уж, что называется, у кого чего болит — на самом деле дождей почти и не было, погода стояла просто загляденье, облакам был дан приказ не темнить собой этот купол, и солнышко, хоть уже почти не грело, продолжало блистать в лазурных лужах, но Александре Егоровне было от этого ничуть не легче отмывать каждый вечер изгваздавшуюся до ушей Ладу, на которую осенняя прохлада действовала возбуждающе и живительно.

И еще одна печаль угнетала в эту чудесную осень душу Егоровны — невиданный уже многие годы урожай яблок. Спросите, что же в этом печального? А то, что девать его было некуда, и стоящий над Колдунами бунинский антоновский аромат знаменовал не довольство и изобилие, а заброшенность и оскудение, и больно было видеть ломящиеся в буквальном смысле под тяжестью плодов дерева. И варенье варили, и компоты, и замачивали эти нескончаемые яблоки, и Ладу пытались не без успеха приучить к яблочной диете, но

все напрасно — большая часть сказочного урожая так и сгнила. И сахару столько не купишь, и емкостей пригодных не хватало, и Лада не столько ела, сколько играла с пахучей антоновкой. Жора предложил односельчанкам делать английское яблочное вино — сидр, и даже убедил их в рентабельности своего проекта, требующего, впрочем, «значительных инвестиций», но вскоре выяснилось, что никакого рецепта он, конечно же, не знает, а просто валяет, по обыкновению, дурака.

А интересно все-таки знать, чем обусловлены исключительно женские ассоциации, возникающие у представителя русской культуры при взгляде на роскошества ранней и средней осени? С тем ли, что в ней действительно есть что-то сугубо женственное, или просто потому, что называется она у нас именно бабьим летом. А назовись она, как в Америке, *Indian summer*, то и возникали бы у нас в воображении не соблазнительные и печальные образы тетенек, которые ягодки опять, а какой-нибудь краснокожий Гайавата в пышном оперении или бесшумно крадущийся с томагавком Чингачгук, ну в крайнем случае малютка Покахонтас.

Вспоминается мне в этой связи стихотворение одного так и не напечатавшегося провинциального поэта брежневской глухой поры, большого путаника, но, по-моему, человека одаренного, с которым я на почве графомании водил некоторое время знакомство и даже, наверное, дружбу. Болтали, выпивали, читали друг другу стишки, а вот сейчас и имени-то его не вспомню, только это одно стихотворение. Как, в сущности, все это грустно и несправедливо.

Наконец мы дождались просвета
(Что-то там та-та) кисти рябин.

Что ж так холоден к бабьему лету
Небосвод голубой, как Кузмин?

(Михаил имеется в виду, конечно, про другого тогда слы-
хом еще не слыхивали.)

Вдови волосы крашены кною,
И роскошен (какой-то) шиньон,
И чрезмерной помадой губною
Лик чахоточный преображен.

Но — увы — безнадежны старанья —
Красный молодец-солнце спешит
Поскорее закончить свиданье
И все позже прийти норовит.

(Дальше четверостишие совсем не помню.)

Целомудрие света и ветра,
Ничего (та-та-та-та) не жаль,
Умудренная, скорбная Федра
сублимирует похоть в печаль.

И беспол, православен, прохладен
Этой рощи (какой-то там) вид,
Позолота здесь дышит на ладан
И паленой листвою кадит.

Концовку не помню. Кажется, она была менее вырази-
тельной и еще более аляповатой и пошловатой.

Должен, однако, признаться, что сам я в те времена, хоть и был уже довольно взрослый, уподоблял в своих верлибрах златотканое убранство осени стыдно даже сказать чему — то крови, то сукровице с гноем, то вообще моче. И страшно гордился тем, что в одном из моих текстов сентябрь, «меланхолик и лодырь», переплавляет смарагды в сапфиры, а тройки разменивает на рубли (советские три рубля были, как вы помните, зелеными, а рубль, соответственно, желтым), а затем уже рубли разменивались на все более захватанные и темные медяки. В общем, безобразия и глупость несусветная.

А в окружающей Колдуны природе никакого безобразья не было, буквально все было хорошо под сиянием прохладного солнышка, но один вид, один фрагмент левитановско-пастернаковского пейзажа памятен мне особо.

Пройдя по полусгнившим расшатанным мосткам, сработанным еще лет двадцать назад Гогушиным с Быками, и войдя в лес, следовало не сразу поворачивать направо к роднику, а остановиться и поглядеть налево — и там, в конце просеки, на фоне густой хвойной зелени, траурная свежесть которой была подчеркнута несколькими тонкими белыми штрихами уже облетевших березок, увидеть широкий купол одинокого клена, сияющий таким непостижимым светом и цветом, что даже самое заскоружное сердце сжималось и начинало ныть в унисон, а самонадеянный головной мозг вынужден был признать, что ничего он с этим поделаться не может — ни понять, ни тем более описать. В общем, как выразился по поводу других красот Сережа Гандлевский — хоть сырость разводи.

Сырость будет разведена чуть позже, когда природа, отбросив божественную стыдливость страдания, распустит

такие бесстыдные и безотрадные нюни, что уж ничего, кроме всепроникающей сырости, просто и не останется, все набрякнет и набухнет мертвой холодной водою, и шуршание и шелест под Жориными резиновыми сапогами сменятся хлюпаньем и чмоканьем, и захочется чтобы поскорее уж ударили морозы и снег прикрыл бы наконец наготу и срамоту тления.

Да нет, конечно, и тогда было красиво, особенно когда напозлали туманы — жутко и прекрасно, как будто на том свете, и появляющаяся откуда-то из этого млечного небытия Лада являлась негативом собаки Баскервилей — видны были только приближающиеся вскачь три темные точки — глаза и нос.

Но пока что до этого было еще далеко, и лес стоял настолько как бы хрустальный и в таком пурпуре и злате — от пронзительно канареечного и малинового до басовых сурика и охры — и так медлительно, как во сне или фильме Тарковского, падали листья, что даже Жора, входя под эти своды, на мгновение удивленно замолкал. Да и очухавшись, он все-таки старался хоть как-то соответствовать очей очарованью и поэтому выбирал для голошения молдавскую песню из репертуара Софии Ротару, нещадно коверкая, впро-чем, и мотив, и слова:

Меланколія — дутьче мелодія!
Меланколія — и амор-амор!
Меланколія, меланколі-и-и-я!
И гармонія — и еще кагор!

11. ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИШЛЕЦ

*Кто я таков — не скажу, а вот мне примета:
Не русак, дик именем, млады мои лета.*

Антиох Дмитриевич Кантемир

4 ноября Маргарита Сергеевна Сапрыкина с утра отправилась к бабе Шуре, чтобы поздравить односельчанку с Днем народного единства или, как говорил Дима Галкин, днем взятия Китай-города. Поначалу-то она этот праздник не признавала, считала очередным предательством и преступлением оккупационного режима, и упорно и даже с некоторым вызовом отмечала 7 ноября, но ежедневное смотрение федеральных каналов сделало в итоге свое просветительское дело, и теперь Тюремщица заранее предвкушала удовольствие, с которым будет стыдить и отчитывать темную Егоровну, когда та наивно спросит, с каким таким праздником ее поздравляют. Сапрыкина ведь, несмотря на то что годилась Александре Егоровне в дочери, держалась с нашей старухой покровительственно-строго, учила ее уму-разуму и пеняла за многочисленные, на ее взгляд, несообразности и бестолковости в гогушинском хозяйстве, поведении и мировоззрении.

— С праздником тебя, соседка!

— И тебя тоже, миленькая!

Опешившая от такой неожиданности Сапрыкина глупо спросила:

— С каким?

— Как с каким? Казанской Божьей Матери!

Ох, как обидно стало Маргарите Сергеевне, ох, как она осерчала — и на себя, и на ехидно (как казалось Сапрыки-

ной) улыбающуюся Александру Егоровну. Она-то ведь считала себя и в этом смысле самой знающей и авторитетной, читала даже пару книжек строгого изобличителя всякой антиправославной мерзости архимандрита Рафаила, после чего некоторое время ругала Жору розенкрейцером, а тут надо же — так опростоволосилась!

Чтобы скрыть смущение и восстановить пошатнувшийся авторитет, Маргарита Сергеевна строго спросила:

— Ты что это свою пустолайку так распустила? Орет на всю деревню, сбесилась, что ли?

— Да я сама в толк не возьму, что на нее нашло, брешет и брешет с самого утра.

Сапрыкина насторожилась:

— А может, учуяла кого?

— Да кого ж ей чуют?

— Кого-кого. Мало ли кого. Время такое, что... Бандит на бандите...

Лада, действительно, давно уже заходилась истошным лаем и как полоумная скакала перед гогушинской так называемой баней — небольшим фанерным домиком, где уже давно никто не мылся, а хранилась всякая ненужная рухлядь. Мылась Егоровна в тазу, ну иногда у Сапрыкиной — в настоящей, бревенчатой, жаркой и пахучей, бане.

— Ты б, Егоровна, хоть поинтересовалась бы, что у тебя под носом-то творится!

Баба Шура покорно направилась к баньке.

— Ну что ж ты так раскричалась, Ладка? Ну что тут... Не открывается чо-то! — подергав дверцу, изумилась баба Шура.

— Т-ш-ш! Тихо! — Сапрыкина перешла на громкий страшный шепот. — Иди сюда! Быстрее! Да не дергай уже дверь, бестолковая! Уходи оттуда! Ну быстрее ты, Господи!

Егоровна, совсем растерявшись, подошла к отбежавшей на безопасное расстояние Тюремщице.

— Беда, Егоровна! Там кто-то есть!

— Да кому быть-то...

— Да тому, кто дверь держит, дура ты старая, прости Господи! Так. Спокойно. Спокойно. Главное, не провоцировать...

— Да скажи ты мне, ради Христа, кто там? Что ж ты меня страшашь-то так, миленькая!

— Молчи. Тихо. Надо этого обалдую позвать!

— Какого обалдую?

— Какого! Золотого! Их тут много, что ли?

Но обалдую звать не пришлось. Он уже и сам шел, ернически приплясывая и приветствуя Егоровну песней из кинофильма «Москва слезам не верит»: «Александра, Александра, что там вьется...» — но, увидев Сапрыкину, тут же переключился:

— Чита-Рита-Чита-Маргарита! Вах! Да вы, девчоночки, уж с утра в сауну намылились? Дело! Может, спинку кому потереть? Тайский массаж? за недорого?

— Да тихо ты...

— А чо такое?

— А то такое, что вон в бане-то кто-то засел!

— В бане?

Приходи ко мне на баню — я тебя оттарабаню.

Приводи свою маманю — и ее оттарабаню!

- Да не ори ты, урод! Иди вот посмотри, кто там!
- А чо мне смотреть? Эт он вас поджидает!
- Кто поджидает, дурья твоя башка?
- А то ты не знаешь? Винни-Пух!
- А?

Жора, которого сегодня пробило на частушки, объяснил:

По деревне ходит слух:
Винни-Пух е...т старух!
Тетю Дашу, тетю Глашу
И еще каких-то двух!

Егоровна хмыкнула.

— Да вы с ума посходили все, что ли? — расвирипела Сапрыкина. — Там, может, маньяк какой прячется!

— Сексуальный, — радостно предположил Жорик.

— Херальный! Ты мужик или нет? А ну, давай быстро!

И Сапрыкина, схватив Жорика за шиворот, швырнула его к зловещей и таинственной дверице.

С трудом удержавшись на ногах, Жорик обернулся, послал Маргарите издевательский воздушный поцелуй и только потом дернул за ручку. Дверь не поддавалась. Жора дернул сильнее — тот же результат. Третьего рывка ручка не выдержала, и Жора повалился на землю под визг Сапрыкиной и лай вконец разошедшейся Лады.

Поднявшись и разозлившись, Жорик схватил прислоненный к стенке бани черенок лопаты и заорал как резанный Высоцкий: «Граждане бандиты! С вами говорит капитан Жеглов! Соппротивление бесполезно! Я сказал — Горбатый!» —

сопровождая каждый рык громким ударом черенка о глипкие стены и дверь баньки.

«Вот дурак-то! Щас переломает все», — подумала Егоровна, но сказать ничего не успела.

Потому что после крика: «Вихрь-антитеррор!», сопровождаемого особо лихим и сокрушительным ударом, воцарилось неожиданное безмолвие.

— А там, блин, шевелится что-то, — озадаченно произнес Жорик.

— А мы что говорили? Ну вот и давай, шугани своего Винни-Пуха! — приказала Сапрыкина, а сама подвинулась еще поближе к калитке.

— Эй, ты там! Стреляю на поражение! Выходи по одному!

— Господи, сколько их там? — ужаснулась баба Шура.

— Считаю до одиннадцати! Уже десять! — продолжал куражиться бесстрашный от хмеля и врожденной дурости Жора.

И тут дверца приоткрылась,
потом еще чуть-чуть,
потом открылась наполовину, и...
и из-за нее появилась голова.

— А-а-а-а! — заорала Сапрыкина!

— Господи Иисусе! — прошептала Егоровна!

— Бляха-муха! — удивился Жорик!

Из низенькой бани, согнувшись в три погибели, почти на четвереньках выползало что-то невероятное, что-то совершенно немыслимое и невозможное в нормальной русской деревне, тем более в День народного единства. Когда же оно распрямилось во весь свой рост, Сапрыкина завизжала с но-

вой силой и вылетела за калитку. Обезножившая со страху Егоровна быстро-быстро закрестилась и зашептала:

— Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая во дни, от вещи во тьме переходящая, от сряща и беса полуденного!

А ошарашенный Жорик произнес:

— Вот тебе, бабушка, и волосатый огурец!

Глупая и похабная присказка в данном случае оказалось уместной — незнакомец действительно был волосат. Представьте себе индейца-аутиста из «Пролетая над гнездом кукушки». Вот такая же орясина, только кучерявая и заросшая по самые ресницы иссиня-черной всклокоченной бородой, и с глазами... нет, лучше вспомните мультфильм «Аленький цветочек» — тот, старый, советский: сказочное лохматое чудище с такими же печальными глазами предстало изумленным и перепуганным взорам моих героев.

Раньше всех опомнилась Лада, которая сначала от греха подалеже отбежала вслед за Сопрыкиной, а теперь с яростным лаем наскაკивала на пришельца, не очень-то, однако, приближаясь.

Ужас искажил черты ужасного создания, и неожиданно мелодичным и жалобным человеческим голосом оно заблужило:

— Вуща восед! Леэгзер, вуща восед!

Мать честная! Это что же такое делается?

Сапрыкина, припустив наутек, завизжала:

— Хватайте его! Это ваххабит!

Тут уж Жора потерял всякий страх и всякое разумение:

— Ага! Бабай Кунанбаев! Нелегальная миграция! Очень хорошо! А ну руки в гору! Руки в гору, я сказал!

Чудище подняло огромные лапы:
— Ыбакво, аттадергуллинь!
— Молчать, пока зубы торчат! Документики приготовили!

— Регистрация небберень, документы, негер гын теффань.
— Тэкс! Неберен, говоришь? А наркотрафик — берен? А? А международный терроризм — берен?!

— Аттымемтуелинь, ыбакачху!
— Ебачху?! Ну все! Я те шас покажу ебачху! Лимиты терпения исчерпаны!

— Ыбакво, ассэнаббэтуллинь! Мыным метфо негер альдеррэгхум!
— Без суда и следствия! По законам военного времени! Сапрыкина издаека посоветовала:
— Ты его обыщи, Жорик! Вдруг у него пояс шахида!
— Попрошу без комментариев! — огрызнулся вконец охреневший Жорик. — Здесь вопросы задаю я!.. Почему посторонние на съемочной площадке?!

— Да уж полно тебе фасонить-то! Глянь, как человека-то напугал! Больно ты что-то развоевался! — вмешался наконец в эту трагикомедию единственный здравомыслящий и взрослый, хотя и маленький и робкий, человек.

Несчастный незнакомец, услышав в голосе Егоровны страдание и милосердие, протянул к ней в отчаянной мольбе большие и грязные ладошки:
— Войзеро! Арогит, йикырта!

Сразу оговоримся — мы не знаем в точности, как попал этот нелегальный иммигрант в наше повествование и из каких краев нашей бывшей бескрайней родины и какими бурными ветрами перемен его занесло в русскую нечернозем-

ную деревню. Вроде бы он вместе с другими постсоветскими скитальцами строил загородный замок какому-то вознесенскому богатею. Грянул кризис, хозяин стройку приостановил, с бригадой, правда, рассчитался вполне по-божески, бригадир же велел подобрать на зиму сторожа, чтобы охочие до чужого добра ильинские жители не растащили по кирпичику недостроенную пламенеющую готику. Сторожем выбрали самого безответного и молодого, к тому же принадлежащего к иному роду-племени, чем большинство строителей-инородцев. Работодатель вскоре, видимо, вконец разорился или попался с поличным в ходе кампании по борьбе с коррупцией, и беззащитный сторож остался безо всяких средств к существованию, один-одинешенек на чужбине, с перспективой медленного умирания от голода-холода. Вот он и пошел наугад домой, опасливо пробираясь темными осенними ночами, чтобы не попасться милиции или местным драчунам, а днем таился, забиваясь в какую-нибудь халабуду и отсыпаясь. Но чуткость Лады прервала это скорбное странствие, и вот теперь дрожащий от холода и страха чужеземец взывал на непонятном никому языке к жалости, и уже умилил и растрогал старенькую хозяйку своего временного пристанища; но смирить военно-патриотического Жору бабы-Шурины увещевания, конечно, не могли, уж очень он разошелся.

— Фамилия?!

— Тэкле Хаварьят.

— Чиво?!

— Тэкле Хаварьят!

— Да ты чо, чурбан-байрам, издеваешься, что ли?! Ах ты чурек-чубурек!

Вот так и пошло: Чебурек и Чебурек.

Ну, в глаза-то его так называла только ксенофобка Сапрыкина, сам Жора каждый раз норовил сочинить какое-нибудь новое заковыристое обращение, от Хоттабыча и Али-бабы (не из сказки, а из «Джентльменов удачи») до газетно-телевизионных Ахмадшаха Масуда, Бюль-бюль Оглы и Раджа Капура. Егоровна, ясное дело, звала Чебурека сынком, ну а Лада, как вы догадываетесь, не звала никак, но сразу полюбила, правда какой-то совсем непочтительной и даже немного покровительственной любовью. Она своим бабьедетским чутьем сразу прочухала, что существует Чебурек на птичьих правах, то есть даже до ее собачьей жизни и до ее статуса в деревенской иерархии ему далеко, и относилась к нему скорее как к щенку, чем как к полноценному представителю высших существ. К тому же ей казалось новым и очень забавным, что кто-то ее побаивается, так что она даже иногда из озорства притворно рычала на робкого Чебурека.

Вскоре и Маргарита Сергевна признала, что от непрощенного гостя не только нет никакого вреда и опасности, а, наоборот, большая польза и помощь: азиат оказался мастером на все руки, работающим и услужливым, его и просить ни о чем было не надо, сам выискивал, что бы такое поработать, чтобы оправдать хлеб-соль и крышу над неприкаянной головой.

Только вот по-русски он говорить так и не научился. И совсем не по тупости, как некоторые могут заподозрить, а потому что учителем его стал неистощимый на глупости и безобразия Жорик, в логовище которого молодой азиат обрел приют. Можете себе представить, какими именно само-

цветами живого великорусского языка обогатился в первый же день наш простодушный гурон. Кончилось это тем, что, встретив однажды утром Маргариту Сергеевну, Чебурек, смущенно и приветливо улыбаясь и прижимая правую руку к груди, поклонился и почти без акцента произнес, как он был уверен, изысканно вежливое старинное русское приветствие:

Здравствуй, Рита! Добрый день!
Дай потрогать за п...нь!

С этого дня Чебурек зарекся говорить по-русски и ограничил свои коммуникационные возможности выразительной жестикуляцией и мимикой, ну, иногда междометиями. Но, кажется, все понимал, уподобляясь в этом смысле своей подружке Ладе, с которой единственной он иногда говорил на родном языке.

Кстати, ничего обидного в прозвище Чебурек я лично не усматриваю. Меня самого школьные друзья до сих пор так кличут. Вкуснейшее, между прочим, кушанье! Один из самых упоительных и непреодолимых соблазнов для чревоугодников и чревобесцев!

Вот если бы кому-нибудь присвоили кличку Доширак, или там Суши, или какая-нибудь Фуагра, или даже Голубец — тут уж человек был бы вправе почесть себя оскорбленным и потребовать сатисфакции. А в чебуреках-то что худого?

Меру только знать надо, а то вот мы с Юлием Гуголевым, встретившись однажды у станции метро Бауманская, чтобы идти в гости к Семе Файбисовичу, чьи застолья славились

обилием и вкусом, не выдержали чарующих чебуречных ароматов и решили, что ничего страшного не будет, если мы позволим себе по одной штучке. Ну и в итоге сожрали по пять! Так что, к недоумению и обиде хозяина, ничего уже не ели за праздничным столом. Да и водка в набитые утробы не лезла, то есть лезла, но с трудом и безо всякого удовольствия.

И еще, конечно, следует остерегаться подделок! Я вообще теперь ем только мамины чебуреки, после того как даже Джейн, собака не набалованная и, можно сказать, всядная, отказалась есть купленную мной в коньковском ларьке прогорклую гадость. То есть из деликатности и чтобы хозяина не обидеть тесто она пожевала, но от фарша брезгливо и решительно воротила морду.

А однажды, после очередного неудачного свидания со своей распрекрасной дамой, я, решив если не компенсировать, то хоть немного приглушить дефицит любово-страстных упоений иными плотскими радостями, купил немировской перцовки, коей я в те годы злоупотреблял, и обратился к веселой и засаленной ларечнице с просьбой отпустить мне три чебурука. И услышал в ответ безумный и леденящий душу вопрос: «Вам с чем — с картошкой или с рыбой?»

Это ли не одичание?!

Это ли не знамение последних времен, я вас спрашиваю?!

И каких еще требуется вам доказательств, что мир катится в бездну?!

12. ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!

Ты непородист был, нескладен и невзрачен,
И постоянно зол, и постоянно мрачен;
Не гладила тебя почти ничья рука, —
И только иногда приятель-забияка
Мне скажет, над тобой глумясь свысока:
«Какая у тебя противная собака!»
Когда ж тебя недуг сломил и одолел,
Все в голос крикнули: «Насилу околел!»
Мой бедный, бедный Чур! Тобою надругались,
Тобою брезгали, а в дверь войти боялись,
Не постучавшись: за дверью ждал их ты!
Бог с ними, с пришлыми!.. Свои тебя любили,
Не требуя с тебя статей и красоты,
Ласкали, холили — и, верно, не забыли.

А я... Но ты — со мной, я знаю — ты со мной,
Мой неотходный пес, ворчун неугомонный,
Простороживший мне дни жизни молодой —
От утренней зари до полночи бессонной!
Один ты был, один свидетелем тогда
Моей немой тоски и пытки горделивой,
Моих ревнивых грез, моей слезы ревнивой
И одинокого, упорного труда...
Свернувшись клубком, смиренхонько, бывало,
Ты ляжешь, чуть дыша, у самых ног моих,
И мне глядишь в глаза, и чуешь каждый стих...
Когда же от сердца порою отлегало

*И с места я вставал, довольный чем-нибудь,
И ты вставал за мной — и прыгал мне на грудь,
И припадал к земле, мотая головою,
И пестрой лапой заигрывал со мною...
Прошли уже давно былые времена,
Давно уж нет тебя, но странно: ни одна
Собака у меня с тех пор не уживалась,
Как будто тень твоя с угрозой им являлась...*

*Теперь ты стал еще любовнее ко мне:
Повсюду и везде охранником незримым
Следишь ты за своим хозяином любимым;
Я слышу днем тебя, я слышу и во сне,
Как ты у ног моих лежишь и дремлешь чутко...
Пережила ль тебя животная побудка
И силой жизненной осталась на земле,
Иль бедный разум мой блуждает в тайной мгле —
Не спрашиваю я: на то ответ — у бога...*

*Но, Чур, от моего не отходи порога
И береги покой моей родной семьи!
Ты твердо знаешь — кто чужие и свои:
Остерегай же нас от недруга лихого,
От друга ложного и ябедника злого,
От переносчика усердного вестей,
От вора тайного и незваных гостей;*

*Ворчи на них, рычи и лай на них, не труся,
А я на голос твой в глухой ночи проснуся.
Смотри же, узнавай их поверху чутьем,
А впускают — сторожи всей сметкой и умом,
И будь, как был всегда, доверия достоин...
Дай лапу мне... Вот так... Теперь я успокоен:
Есть сторож у меня!.. Пускай нас осмеют,
Как прежде, многие: немногие поймут.*

Лев Александрович Мей

Боюсь, что даже и «немногие» не поймут и не одобрят такого непомерного эпиграфа. Ну простите, ради бога! Ну уж очень мне кажется трогательным и забавным это, глуповатое даже для Мейя, но в некотором смысле необыкновенно мудрое и глубокое стихотворение. Так что хотелось поделиться.

И еще вот какие праздные мечтания побудили меня к размещению этого послания мертвому псу на страницах моей книжки — а вдруг какой-нибудь читатель очаруется и решит узнать, кто такой этот Мей? Собак ведь у нас многие искренне любят, а вот поэтов второй половины позапрошлого века почти никто не знает. И вот наберет пыливый юноша в Яндексе «Лев Мей» и прочтет еще какие-нибудь стихи, например «Сплю, но сердце мое чуткое не спит...» или «Хотел бы в единое слово Я слить мою грусть и печаль». А там, глядишь, наткнулся бы, пойдя по ссылкам, и на Аполлона Майкова и прочитал бы: «Дух века ваш кумир: а век ваш — краткий миг», и на Полонского с его потрясающим «Колокольчиком», и на Случевского:

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...

В общем, обнаружил бы этот любитель собак благодаря Чуру всех безвременно исчезающих в нагло вспучившейся и вышедшей из берегов Лете русских стихотворцев — от Апухтина Алексея Николаевича до Яниш Каролины Карловны. Вот и будет этому невежественному, но любознательному читателю польза от моей книги. А мне — огромное творческое удовлетворение, потому что я-то, в сущности, именно этого и добиваюсь. Ну не только этого, конечно, но этого в первую очередь. Правда-правда.

Жаль только, про собак этот гипотетический читатель поэтических сайтов ничего у сих стремительно забываемых авторов не найдет. Вот разве что натолкнется у Владимира Соловьева, который был, кстати, озорь почище Жорика, на такое описание пророка будущего:

А когда порой в селение
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил!

Или в эпитафии себе самому, выдающемуся, между прочим, религиозному философу:

Он душу потерял,
Не говоря о теле:

Ее диавол взял,
Его ж собаки съели.

Если и существуют в природе такие взбесившиеся и осатаневшие псы, которые способны пожрать останки автора «Оправдания добра» и «Смысла любви», то Лада была, конечно, не из их числа. Она и укусить-то никого не могла, а в еде была не то чтобы прихотлива, но довольно брезглива. Чем сильно усложнила и без того не самую легкую жизнь Александры Егоровны, но это уже потом, на первых порах выручали харчевниковские, поражающие воображение бабы Шуры припасы.

Капитан действительно оставил Егоровне почти полный 13-килограммовый пакет сухого корма (мешок этот с портером задорного золотистого ретривера потом долго еще пригождался в хозяйстве) и несколько банок каких-то собачьих консервов.

С этими консервами вышел конфуз. Когда Егоровна открывала первую банку, аромат тушеной говядины оказался таким аппетитным и странным, что старушка не выдержала, отколупнула ложечкой маленький кусочек, съела, подумала про себя: «А ничего!» и тут только заметила, что на нее во все глаза смотрит прибежавшая на знакомый звук и запах Ладка, и, застигнутая врасплох, хозяйка стала смущенно оправдываться: «Да я только попробовала! Один кусочек!».

Помню, в незабвенные годы ускорения и гласности кинорежиссер вся Руси скорбел с экрана телевизора о бедах и злосчастиях русского народа и привел в качестве примера душераздирающую картину — мужики на его глазах закусывали водяру собачьими консервами. Я тут же проникся

сочувствием к этим бедолагам — ну действительно, что же это такое?! Но Ленка Борисова тут же разрушила мое намекающееся единодушие с вальяжным властителем дум: «Да они ж дорогие страшно! Дороже всякой тушенки!». Интересно, а сейчас дороже?

Ну и, конечно, ни о какой цыганской конуре не могло быть теперь и речи. Поначалу Александра Егоровна еще пыталась соблюдать деревенские приличия и не пускать Ладу в жилые помещения, собачья подстилка из траченного молью зимнего пальто и алюминиевые плитки были разложены в холодных сенях, прошмыгивания в избу строго пресекались весь первый день, но когда настало время тушить свет и отходить ко сну, скулящая и царапающая дверь нахалка добилась-таки своего. Во-первых, чересчур свежи были воспоминания о той кошмарной ночи, когда собачка неистовствовала что твой Роланд, во-вторых, Ладу и вправду было жалко — как она там одна, в темноте и холоде чужого жилища, такая маленькая, беленькая и глупая.

Вообще-то не такая уж и маленькая и не очень беленькая. Белыми у Лады навсегда остались только грудка, передние лапы, загривок и кончик хвоста. Все остальное было окрашено в бежевые тона различной интенсивности — от совсем светлого до почти рыжего. Роста же она была среднего, ну может чуть ниже, сантиметров пятьдесят в холке.

А уши большие, почти как у того французского лиса, которого цитировал Жора, но на концах трогательно загнутые вперед, и распрямляемые на манер овчарочьих только в моменты особого возбуждения и настороженности.

Вообще статью Лада (особенно в профиль) была очень похожа на немецкую овчарку.

Тут мне вспоминается одна моя квартирная хозяйка, добрейшая Валентина Ивановна, которая после пропажи свое любимца Гоши (безобразно толстого сиамериканского кота, сбежавшего, кажется, от непреодолимого отвращения ко мне) подобрала на бульваре Карбышева какую-то жалкую облезлую собачонку. Своей телефонной подружке она ее описывала так: «Ну вот знаешь колли?.. Ну колли, шотландская овчарка?.. Ну вот она — вылитая колли... Да, только очень маленькая... и черненькая... Нет, еще меньше».

Вот и Лада была вылитая немка, но сильно уменьшенная, портативная и улучшенного дизайна.

В частности, глаза ее казались еще больше и выразительнее, потому что были обведены, можно сказать подведены, как тушью, тонким темно-коричневым контуром. И так же были украшены губы, ну в смысле пасть. Ну и хвост, конечно, не овчарочий, а лихим дворняжьем кренделем.

Шерстка же Ладина была на ощупь удивительно приятной, «лосной», как говорила Александра Егоровна. А уж до чего нежненьким и тепленьким было Ладино розовое подбрюшье — это вообще ни в сказке сказать, ни пером описать.

В общем, чудо как хороша была новая гогушинская личка, и надо было быть такой стервой, как Зойка Харчевникова, или таким законченным себялюбцем и эгоцентриком, как Барсик, чтобы при взгляде на нее не умилиться и не почувствовать глубокой симпатии.

Со всем вышесказанным Александра Егоровна полностью согласна, но просит, чтобы я еще и про запах написал: мол, и пахнет ее собачка изумительно и чудесно — то ли медом, то ли черемухой. Ну что тут можно сказать? Видимо,

любовь не только слепа, но и начисто лишена обоняния, потому что на мой нюх (притушенный, впрочем, многолетним курением) пахнет Лада обыкновенной псиной, ну, может быть, чуть тоньше и слаще.

Была ли Лада умна? Да вроде не очень, во всяком случае ничего особо умного никогда не делала. Возможно, она, как Наташа Ростова, просто не удостаивала нас с вами быть умной. И черт ли нам в ее уме, когда она столь обворожительна?

Нрав же и темперамент Лады являли редкое и счастливое сочетание неутомимой сангвинической жизнерадостности и баловства с мудрым спокойствием флегматика и ленивца, игра и беготня на улице так быстро и резко сменялись сладким сном у теплой печки, что трудно было поверить что эта разоспавшаяся и лентяющая обратит внимание даже на провокации Барсика собака буквально три минуты назад еще мучила покорного Чебурека, заставляя его вновь и вновь бросать апортируемую и обслюнявленную ею палку.

Вот и нам бы так, правда? Только играть бескорыстно, скитаться здесь и там, дивясь красотам, обливаясь слезами над вымыслом, совершая приготовленные просвещением чудные открытия, и дремать блаженно под сенью каких-нибудь струй!

Ох, мы-то бы и рады в этот младенческий рай, да первородный грех не пускает, надо в муках рожать, и в поте лица своего вкалывать, и омрачать небо скрипучим трудом, да еще и, как сказал бы Жора, мериться х...ми.

Разница между этими двумя фазами Ладиного бытия была столь велика, что иногда даже пугала Александру Егоровну: «Миланка, да ты не заболела ли?». Но миланка толь-

ко томно потягивалась, лизала глядящую ее руку и опять проваливалась в дремоту — до приема пищи или прогулки. И иногда довольно громко храпела, веселя смешливую хозяйку и выводя из себя ненавистника-кота.

С Барсиком отношения не складывались. Лада постоянно лезла играть, он страшно шипел и царапался, при этом нахально подворовывал собачью еду, вызывая справедливое негодование и гневный лай!

Большую же часть времени одноглазый разбойник проводил на недоступном для Лады шифоньере или, чтобы унижить собаку и подчеркнуть свои привилегии, валялся на кровати, а своими прямыми профессиональными обязанностями стал демонстративно манкировать. Мыши в этой связи расхрабрились и обнаглели, и самая предприимчивая и отважная из этих любимиц Ходасевича однажды прямо среди бела дня выбежала на середину комнаты. Этого Барсик, естественно, вытерпеть уже не смог и прямо с шифоньера одним Багириным прыжком настиг зарвавшуюся норушку. Ну и стал с ней играть по жестокому кошачьему обыкновению. Тут уж не вытерпела пробужденная шумом Лада, ей показалось, что настал подходящий момент забыть прошлое и соединиться в общем веселье. Мышь была упущена и, славя своего покровителя Аполлона, дала деру, Барсик, рассвирепев, бросился на Ладу, Лада, обидевшись, — на Барсика, тот — на кровать, Лада — за ним, тот — на кухонный стол, Лада — на табурет и за ним; в общем, когда появилась встревоженная грохотом хозяйка, она застала Ладу стоящей на столе да еще и вылизывающей перевернутую сахарницу.

В этот раз удары веника были совсем нешуточными, Егорвна действительно осерчала. Но потом, минут через пять,

глядя на униженную и скорбную собачку, лежащую покорно на своем месте, но умоляющую глазами о прощении и милости, хозяйка устыдилась и даже (чего делать, по-моему, не стоило) дала Ладе долизать остаток сахара-песка.

И, конечно, иногда, глядя в Ладины карие глаза, испытывала Егоровна то чудное, жутковатое чувство, знакомое, наверно, каждому сколько-нибудь чуткому владельцу собаки — то, что некогда ощутил и описал Алеша Арсеньев, правда по поводу другого домашнего животного, нам уже совершенно неведомого: «Страшна была ее роковая бессловесность, это вовеки ничем не могущее быть расторгнутым молчание, немота существа, столь мне близкого и такого же, как я, живого, разумного, чувствующего, думающего, и еще страшней — сказочная возможность, что она вдруг нарушит свое молчание...»

Интересно, что даже классик марксизма-ленинизма Фридрих Энгельс, судя по всему, переживал нечто подобное, и даже давал этому строго материалистическое объяснение:

«Всякий, кому много приходилось иметь дела с такими животными, едва ли может отказаться от убеждения, что имеется немало случаев, когда они свою неспособность говорить ощущают теперь как недостаток. К сожалению, их голосовые органы настолько специализированы в определенном направлении, что этому их горю уже никак нельзя помочь». (Цитируется по книге «О чем лают собаки». М.: Патриот, 1991. В этом же издании, кстати, на странице 74 изображена собачка, очень похожая на Ладу.)

13. НЕОСУЩЕСТВИМАЯ КОЗА

Была коза и в девушках осталась...

Константин Константинович Случевский

Будущему историку литературы (если таковые не исчезнут окончательно в ближайшее время) будет, я полагаю, небезынтересно узнать, что в черновом списке действующих лиц нашего романа, кроме «бабушки, песика, продавщицы, Тэкле, девочки и ее уродов-родителей, кота Мурзика и Гришки-хулигана» значилась под десятым номером «коза Маруся (Маня?)».

Стоит ли говорить о том, какие манящие возможности (как в сюжетостроении, так и в живописании) сулила автору эта порожденная буйной творческой фантазией, но так и не воплощенная Мария?

Принадлежала моя немолодая, но все еще необыкновенно красивая и изящная козочка, конечно же, Маргарите Сергевне, и приносила этой крепкой хозяйственнице до (стольких-то) литров молока в день. Глаза ее были прекрасны и таинственны, как у воительниц Лукоморья на обложке, шерсть же настолько белоснежна, что Лада рядом с ней, как и на настоящем снегу, выглядела откровенно рыжей.

Целую главу можно было бы посвятить скандалу, который учинила бабе Шуре, нет, наверное, еще Харчевниковым, Тюремщица, из-за того что общительная Лада, помогая знакомства с Марусей, перепугала козу веселым лаем и прыжками, и та якобы от этого стресса снизила надои.

И как Лада, наконец, доигралась и была больно и неожиданно сбита с ног потерявшей терпение бодучей дерезой.

И как они потом подружились, стали просто неразлейвода, и как они играли и баловались, и о чем говорили, и коза, конечно, тоже бы спела какую-нибудь многозначительную и поучительную песню.

И как Маруся погибла, став первой жертвой клыкастых inferнальных волков, настоящих исчадий зимнего ада, погибла бы, бедняжка, чтобы обозначить нешуточность опасности, нависшей над притихшими в ужасе Колдунами.

И как Сапрыкина голосила над оставшимися рожками-ножками и поклялась отомстить волкам-убийцам, и что из этого вышло.

Ну и многое другое*.

Почему же автор в итоге отказался от этих увлекательных эпизодов, безжалостно обкрадывая и без того нищенский сюжет?

Вот вы наверняка не поверите, а подвигла меня на это самая обыкновенная человеческая честность! Ну, если хотите, боязнь быть пойманным за руку каким-нибудь въедливым сельскохозяйственным читателем. Ведь про коз и козоводство я ну ничегошеньки не знаю. Видел, конечно, много

* Тут я хотел бы, кстати, обратить внимание читателей на то, что название моей хроники никак не связано с неведомым мне сочинением Гертруды Стайн «Как была у тетки телка. История любви». Я о существовании этого текста, по-моему, еще не переведенного на русский язык, узнал совсем недавно из единственной книги этой знаменитой писательницы, которую я, надо сказать с большим изумлением и безо всякого удовольствия, прочел — «Автобиография Алисы Б. Токлас». Источник моего не очень благозвучного названия находится гораздо ближе к русской классической литературе.

раз и любовался, и покойный Томик их пытался гонять по Шилькову, и маленькую Сашку одна из них боднула в попку, вызвав неистовую и смешную ярость, да и порасспросить у Ленки можно было бы, она-то вроде в детстве с козлятами водила знакомство, но все равно, чересчур уж велика опасность оказаться в роли тех городских описателей деревни, над которыми потешался Бунин:

Иду и колосья пшена разбираю...

Сложно, конечно, представить среди моих потенциальных читателей настоящего агрария и животновода, но чем черт не шутит.

Так что прости-прощай, мелкий рогатый скот. Не судьба нам с тобой, Маня, свидеться.

Да и вообще...

Вот я говорю честность, а ведь будь я действительно, на все сто процентов, честен, то признался бы, хотя бы себе самому, что ведь и пенсионерок, и задиристых продавщиц, и даже глупых хулиганов, собутыльников и сослуживцев моей жалкой юности, я совсем не знаю, души их для меня непроницаемые потемки, признался бы честно и оставил бы трудоемкие и нерентабельные попытки запечатлеть их и сделать живыми и правдоподобными.

Но не свойственна подобная аскетическая честность натурам, так сказать, артистическим, к которым я с прискорбием вынужден себя причислить. Этим натурам, будь они неладны, свойственна как раз некоторая сугубая нечестность и лживость, прирожденное лукавство, заставляющее изыскивать всякие хитроумные художественно-выразительные

средства, чтобы скрыть свое беспомощное незнание, свою растерянность и неспособность объять всю эту необъятную, пугающую сложность, чтобы во что бы то ни стало впарить и себе, и читателю-зрителю-слушателю в качестве единственно истинной и универсальной ту доморощенную, рукodelьную модель мироздания, которая если что и отражает, то всего-навсего их собственные надежды, страхи, чаяния, пред-рассудки, любви-ненависти, психозы-неврозы и комплексы-шмомплексы. И это ведь касается не только моей скромной прозаической пробы пера, но — уж поверьте — и самых вели-ких и могучих творений человеческого гения!

Другое дело, что никаких других моделей Божьего мира нам не видать, и без них этот мир предстал бы нашим испу-ганным глазам «бесформенной кучей неизвестно чего», по выражению цитируемого по памяти философа Лосева.

Так что мой совет тебе, юный читатель: доверяй, но про-веряй! В смысле — сопоставляй.

И ведь даже с собачкой моей все не так уж просто! По-скольку внутренний мир Каштанки, если перефразировать известное изречение М. Л. Гаспарова, так же недоступен и непостижим, как и психология и творческая лаборатория А. С. Пушкина!

И уж псов-то я вроде бы многих знал, со многими из них дружески общался и был близок — и с коротконогим Инду-сом, который умел танцевать под бабушкино пенье, и с бес-толковым ирландским сеттером Бемби, гонявшим домаш-нюю птицу по улице Советской и получившим по заслугам от билибинского петуха, и с лохматой огромной Найдой, которую я в поселке Тикси-3 тщетно пытался удержать от нападения на московского важного генерала, приехавшего

проверять боеготовность папиной части, и с Вероничкиным рыжим пекинесом Бимом, и с ее же микроскопическим, но наглым Максиком, и теперешним потешным корги Терри, и с подобранной Анечкой трагической дворнягой Марфой, и с не очень, честно говоря, похожей на собаку, но все-таки очаровательной Сашиной и Фединой йоркширкой Груней, я уж не говорю про покойного моего Тома и про Джейн, являющуюся вдохновительницей моего романа и прототипом главной героини!

Казалось бы, имею право со спокойным достоинством заявить: «Я знаю собак, и собаки знают меня!»

Но могу ли я с чистой совестью утверждать, что проник в таинственные глубины собачьей психологии?

Нет, не могу и не буду. Не проник. А кто, интересно, проник?

Убедительных собачьих художественных образов в мировой литературе до обидного мало, можно пересчитать по пальцам.

Потому что ведь не только мадам Бовари оказывается по утверждению автора самим Флобером, но и та самая Каштанка является, в некотором смысле, никакой не собакой, а Антоном Павловичем Чеховым. Вон Сологуб попытался представить себя псом, и что вышло? Смехота. Стихи-то, положим, в своем роде замечательные, но никакого особенного проникновения в собачью душу я в них, извините, не нахожу.

А «Собачье сердце»? Чудеснейшая книга, кто спорит, но ведь клеветническая же! Во-первых, слепо повторяет и эксплуатирует лживый миф о якобы врожденной ненависти собак к кошкам. Злокозненное вранье! Свидетельствую — прекрасно уживаются, а иногда даже дружат. Покойный Том

с покойной Катей постоянно играли, носились друг за другом, сокрушая мебель и угрожая жизни и здоровью (в том числе и психическому) окружающих людей. Но это ладно. А вот то, что подлый Полиграф Полиграфыч является вроде как обладателем собачьего сердца — это уж прямо возмутительно. Да бейся у него в груди настоящее собачье сердце, он бы жизнь положил за своего хозяина, да он бы того Швондера порвал бы, по выражению Жорика, как Тузик грелку! И учился бы всему с охотой и радостью, еще бы всем надоел своими приставаниями и демонстрацией успехов!

Я уж не говорю про «Сны Чанга». Это уж вообще... Нет, всякое, конечно, бывает, вон когда мама работала в противочумном отряде, у них для каких-то научных целей был баран, которого праздные солдатики (подозреваю, что инициатором этой проделки был опять-таки Жора) приучили курить. Но собака-алкоголик?! Не верю.

Вот в кого легко поверить, так это в верного Руслана. Вот это и вправду настоящий пес, не очень, правда, симпатичный.

Кстати об Эмме Бовари. Не знаю, согласился ли бы Флобер с моей интерпретацией этого эпизода, но для меня ее собака Джали, сбежавшая по дороге из Тоста в Ионвиль-л'Аббеи, из-за чего Эмма устроила скандал своему несчастному пентюху, является символом, вернее ее исчезновение кажется мне символом надвигающегося кошмара, а то, что романтическая дамочка, воспользовавшаяся ее пропажей как поводом помучить мужа, мгновенно о ней позабыла и тут же пустилась флиртовать со своим жалким Леоном, есть, по-моему, прямое указание на то, какая же пустая дрянь была эта буржуазка.

А помните, как другая неверная жена, Анна Аркадьевна, едет на вокзал?

«Разве все мы не брошены на свет затем только, чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других?»

И как она видит компанию в коляске четверней, «которая, очевидно, ехала веселиться за город», и мысленно обращается к ней: «И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете».

Этой каренинской фразой, по-моему, Толстой ясно показывает читателю, что тот «пронзительный свет, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений», на самом деле был гибельным мороком и лживым наваждением. Потому что как раз собака-то очень даже может помочь, если и не уйти от себя, то уж прийти в себя точно, а это, конечно, гораздо важнее. Сужу по личному опыту — именно собака и помогает в таких случаях лучше всего.

Вот представьте, что вместо загадочного и зловещего «красного мешочка» на руках у толстовской героини в те страшные мгновения был бы какой-нибудь прелестный шпич «не более наперстка» или там йоркширская собачка с бантиками, как у Груни. Вот куда б она ее дела? Ну не бросила бы она ее на незнакомой станции, да еще рядом с трупом хозяйки! Ведь она, в сущности, была славной и доброй женщиной. Так что пришлось бы ей, помечтав о желанной гибели и попредставляя, как она легко могла бы избавиться от всего, что так больно ее мучило, проводить тоскующим взглядом удаляющийся навсегда товарный поезд и все-таки вернуться со своей собачкой домой, а там, глядишь, кризис бы миновал, и что-нибудь бы они с Вронским придумали, чтобы никому не умирать.

Так что страдающий от несчастной любви лирический герой Бунина, вздохнувший в конце стихотворения: «Хоро-

шо бы собаку купить», обозначил этим, по-моему, не безнадежное отчаяние, а единственную в этом случае разумную и конструктивную программу выхода из кризиса.

Александр же Блок, опьяненный музыкой революции до совершенного беспамятства и безумия, доказал правоту народной присказки «мастерство не пропьешь», в частности, тем, что старый и обреченный на ликвидацию мир олицетворяет у него не только озябший буржуй, но и бездомная дворняга, правда, он потом называет ее волком, очевидно для того, чтобы читатель, не дай бог, не почувствовал жалость к этому псу и омерзение к двенадцати ублюдкам, собирающимся пощекотать его штыком.

И буйнопомешанным птицам молодого Горького противостоят, на мой взгляд и вкус, должны не жирные пингвины и змеи, а веселые и здравомыслящие собаки — какие-нибудь эрдельтерьеры, например.

И кто его знает, может быть, второй по степени популярности гамлетовский вопрос вовсе не является риторическим, а подразумевает ответ, как-то связанный с тем, что Гекуба в конце концов была превращена богами в собаку. Хотя тут я, наверное, хватаю лишку и уподобляюсь тем современным исследователям, которых А. Долинин окрестил «интертекстуальными криптоманами».

А если уж говорить с последней прямоотой и не боясь (чего уж теперь бояться) вызвать глумливые насмешки, то надо признаться, что я вообще давно уже подозреваю, что собака — единственное из живых существ, которое после грехопадения и изгнания наших пращуров из рая, когда все мирозданье изменилось таким катастрофическим образом, было оставлено Вседержителем практически без изменений, дабы

человек, глядя на нее, припоминал тот блаженный, разрушенный по его неразумию и гордыне мир, где все звери и птицы небесные (кроме одного гада) были такими же, как моя Джейн, и где он сам был достоин такой любви и верности.

Понятное дело, что за все эти ужасные века псы, несомненно, тоже поиспортились, понабрались у хозяев злобы и дурости, так что некоторые напоминают уже совсем не об Эдеме, а, наоборот, о различных кругах Дантова ада. Но мы-то ведь создаем образ положительной героини, а положительные собачки (их все-таки пока большинство) создания практически безгрешные.

Какой-нибудь начетчик не преминет возразить: «А как же в таком случае понимать следующее место Канона Ангелу-хранителю: «О злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки ко псу смердящему?»

Да так вот и возможен, вон как Леша Докучаев, воззрел и подобрал на помойке щенка, вряд ли тоже благоуханного, но ничего, отмыл, откормил — отличная собака выросла, правда, он жалуется, что очень избалованная и непослушная.

Другое дело, что *наше* злое произволение и *наш* смрад никаким псам бессловесным не снились, так тут уж иная тема.

А закончим мы эту главку смиренномудрым изречением отца-пустынника аввы Ксафия: «Собака ценна более меня, ибо она имеет привязанность к своему хозяину и не будет судима».

Так что старинная дразнилка «Писал писачка, а имя ему собачка» мне личнонисколько не кажется обидной, и если кто-нибудь таким образом прорецензирует мое сочинение, я почту это за незаслуженную честь.

14. КАК В СКАЗКЕ

*О первенец зимы, блестящей и угрюмой!
Снег первый, наших нив о девственная ткань!*
Петр Андреевич Вяземский

По вышеуказанным причинам, то есть по невозможности влезть в чужую шкуру, тем более в собачью, я не могу достоверно вообразить, что ощутила и подумала Лада, впервые в жизни увидав первый снег. Могу только отметить, что она не замерла в изумлении на крыльце при виде преображенного до полной неузнаваемости мира, почти утратившего за ночь все привычные запахи, звуки и краски — кроме белил цинковых и сажи черной. Ничего подобного — выбежала еще быстрее обычного и тут же за калиткой присела и запятнала девственную белизну ярко-желтой стружкой. А потом как понеслась, как пошла нарезать круги по приречному лугу, оглашая тишину ошалелым лаем и оставляя на мокром и неглубоком снегу чудесные четкие пятилепестковые следы!

Если кто и замер на крыльце в созерцании, так это баба Шура. Да и то поразила ее не столько метаморфоза родного ландшафта, сколько изменения, произошедшие с ее хвостатой подружкой — Лада, скачущая по младенческому снегу, сменила масть, из нежно-палевой она стала откровенно рыжей, прям Лиса Патрикеевна.

И не только Лада поменяла окраску. Березы, например, тоже оказались на фоне настоящего снега совсем не белоснежными, какими представлялись среди майской зелени или сентябрьского злата, теперь их самих можно было упо-

добить благородному металлу — старинному серебру с чернью.

Да и хвойные деревья опровергали расхожее утверждение, что они зимой и летом одним цветом. Да не одним, конечно, и даже не двумя. Вот представьте себе, например, одну и ту же елку или, лучше, сосну в знойном июле и, скажем, в феврале. Представили? Ну вот. Об этом я и говорю. Я тоже представил, и очень хорошо и ясно, прямо как живая перед глазами, но — увы — описать эти краски никак не могу по недостатку то ли прозаического опыта, то ли изобразительного таланта.

Сапрыкина, как натура трезвая и практическая, на все эти красочные подробности особого внимания не обратила, пришла к резонному выводу, что лавка сегодня уж точно не приедет по такой дороге, и приступила к будничным хозяйственным хлопотам. (Козу доила? — Да отвяжись ты уже с этой козой, наконец!)

А развеселившийся не хуже собаки Жора с Чебуреком и мешающейся Ладой строили огромную снежную бабу. Снег налипал пласт за пластом на уже и без того огромный шар, обнажая удивительно зеленую, как будто весеннюю траву. Вскоре меж ваятелями разгорелась, однако, жаркая и принципиальная дискуссия, закончившаяся выходом негодующего азиата из творческого коллектива. Жора, отстаивший свое реалистическое видение снежной бабы, налепил ей невероятных размеров сиськи и даже обозначил рябиной непропорционально маленькие, но яркие соски. Более того, он не поленился утыкать маленькими черненькими березовыми веточками лобковый треугольник. Такими же веточками на животе изваяния было начертано название — «Рита». Но оскорбить женскую стыдливость и поругать целомудрие

показалось порочному Жорику мало, он решил еще оклеветать невинность и предать священные заветы мужского дружества и стал у подножия своей снеговой Венеры выкладывать надпись: «Слепил Чибурек!». Но неожиданный пинок подошедшей сзади Тюремщицы был так меток и яростен, что Жора не удержался на корточках, врезался беспутной головой в живот своего соблазнительного творения и был погребен под обломками этой монументальной порнографии. А когда выбрался, получил еще.

Если б срамной идол был повержен чистой рукой бабы Шуры, а не безжалостной ногой Сапрыкиной, эту сцену можно было бы трактовать как аллегорию, как падение кумира Афродиты Пандемос и триумф Любви Небесной, что, в общем-то, не шло бы вразрез с авторскими намерениями.

Этот веселый первый снег, конечно же, на следующий день растаял, да и второй пролежал недолго, но скоро зима действительно пришла.

Причем в этом году она оказалась такой ядреной, пушистой и румяной, что убежденность поэта в том, что мороз пахнет яблоком, не казалась уже такой загадочной и прихотливой, а традиционное сравнение снежного покрова с саваном выявило свою грубость и неточность — где ж это виданы саваны с люрексом? да еще — если хорошенько приглядеться — таким цыгански разноцветным?

Мороз-воевода, дослужившийся в двадцатом веке до генерала, проинспектировав вверенную ему территорию, остался доволен — лесные тропы были занесены хорошо, ни трещин, ни щелей, ни голой земли замечено не было, лед на Медведке и обоих прудах скован добросовестно, узор на дубах красив, вершины сосен пушисты.

И комната была озарена янтарным блеском низкого, но яркого солнца, и неугомонная, как Александр Сергеевич, Лада будила холодным носом немного разленившуюся зимой Александру Егоровну.

А Жорик, грея красные, задубевшие руки над своей закопченной бочкой, посмеивался, как Кутузов или Денис Давыдов, над чужеземцем: «Ну, бля, колотун! Эт тебе не Чуркестан! Что, Маугли, змерз? Не любо? А нам, русичам, хоть бы хрен! Бобслей — спорт мужественных!»

Все это было чистой воды националистической демагогией потому что Чебурек как раз не очень-то мерз, поскольку стараниями сердобольной Егоровны был упакован в овчинный тулуп Ивана Тимофеевича, в его же треух и валенки, а вот Жора дрожал как цуцик в своем потрепанном демисезонном, как он сам говорил, «полупердончике». Александра Егоровна и Жору бы пожалела и придела, но, во-первых, вещи ее статных мужчин были ему уж очень велики, а во-вторых, он еще в первую свою зиму в Колдунах с особым цинизмом пропилил почти что новенький гогушинский ватник.

Но все это нисколько не уменьшало Жориковой кипучей жизнерадостности и патриотического подъема: «Славный морозец! А в лесу — просто ох...ть можно! Прямо, б...ь, как в сказке. Лепота!»

Тут я вынужден с Жориком согласиться — действительно как в сказке, только он, скорее всего, имел в виду «Морозко», а мне этот слепительный январь напоминал больше «Волшебную зиму в Муми-доле» и, отчасти, «Снежную королеву».

15. ДОЛГИМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ

*Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Александр Сергеевич Пушкин*

Там, снаружи, за роскошными цветами Снежной Королевы на оконных стеклах, за заиндевевшими бревнами старых гогушинских стен недвижно стоял темно-синий, почти что фиолетовый холод, и зимние сумраки-мраки стыли в вековечном безмолвии, когда в нашу ветхую лачужку вошла никому не видимая тень, в смысле печальный загробный дух. Вошел и стал посреди своей когдатошной земной обители.

Но трое, сидящие у уютно потрескивающего телевизора, ничего не заметили — ни малюсенькая старушка с книжкой в руках, ни черный мурчащий кот на ее коленях, ни светленькая собачонка, свернувшаяся у ее ног, не повернули головы и не уставили недоумевающий взгляд на призрачного пришельца. Тихий голос продолжал неторопливое чтение, спокойно дремали зверьки, опровергая широко бытующее мнение об их необыкновенной мистической чуткости. Пожелтевшая от долгого и трудного времени хрупкая страница перевернулась, и Егоровна стала читать мое любимое место из Евангелия от Луки: «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что был мал ростом; и забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус,

когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхай! Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку...»

Потустороннее видение слушало, кажется, не очень внимательно, но глядело во все глаза — скорбно и ненасытимо, не подавая, впрочем, никакого явного знака своего незримого присутствия. Огонь в печи негромко гудел, напевая в полголоса стародавнюю песнь, почти забытый нами священный гимн, славословие временному уюту, отвоеванному у безжалостной Белой Колдуньи, и героической борьбе нашей жалкой и теплой плоти с надвигающимся окоченением. Старушка спокойно читала себе вслух, как делала это каждый вечер после смерти Ивана Тимофеевича, Барсик еле слышно гудел, Лада смотрела какие-то увлекательные, если судить по движениям ног и неожиданным взлаиваниям, сны.

Призрак придвинулся ближе, почти вплотную к своей не обращающей на него внимания, погруженной в чтение старенькой и маленькой женушке. Но совсем невдомек было Александре Егоровне, что смотрят на нее и слушают ее не только умиляющийся автор и не только прильнувшая к окошкам ледовитая тьма, но и покойный супруг. И только когда глава была дочитана и книга отложена, на какое-то мгновение стало Александре Егоровне странно, сжалось и ёкнуло сердце, и показалось ей, послышалось, что незабвенный голос пропел шепотом в самое ухо: «Верь, другой такой на свете нет наверняка, что так...»

Но не могла себе позволить Александра Егоровна «такие нежности при нашей бедности», не стала она вспоми-

нать ни обильные страстные речи, ни взгляды, так жадно, так робко ловимые, справедливо опасаясь закручиниться и впасть в тяжкий грех уныния и неблагодарности, не только не стала прислушиваться к грустному голосу, но строго и насмешливо приструнила себя, обозвала старой дурой, и, сбросив недовольно мяукнувшего Барсика, принялась растилать постель...

Странно и даже как-то неловко говорить, но если память о муже до сих пор была для Александры Егоровны свежей и душераздирающей, то о сыне она уже давно вспоминала безо всякой боли, светло и умиленно, очень любила видеть про него сны, все стены завесила его фотографиями — от голого трехмесячного бутуза до бравого дембеля. Почему это было так, я не понимаю, тут, наверное, какая-то недоступная мужскому уму тайна материнского и женского сердца...

Первые четыре абзаца этой главы являются вольным пересказом и переложением на русские нравы стихотворения Уолтера де ла Мара «Winter Dusk» и вызывают у автора большие сомнения — во-первых: не является ли это, при всей снисходительности современной культуры к обильным цитациям, стилизациям и обыгрываниям классических текстов, плагиатом, наглость которого только усугубляется тем, что этот чудесный поэт у нас, к сожалению, недостаточно известен, а во-вторых: получается, что загробная судьба Ивана Тимофеевича сложилась не очень-то благополучно, ведь, насколько я знаю, привидениями, тревожащими покой живых, становятся души неприкаянные и не заслужившие прощения.

Кроме того, в деламаповскую рамку никак не вписывается Чебурек, который в эту зиму почти каждый вечер проводил у Александры Егоровны, привязавшись к моей старушке почти столь же беззаветно, как Лада, и не желая быть ни участником, ни свидетелем ежевечерних Жориковых возлияний.

Похабник Жора из ревности и зависти стал даже намекать на предосудительный характер связи Егоровны и молодого азиатца, изводя старушку насмешливым исполнением старинной песни:

Из тысячи фигурок
Понравился мне турок,
Глаза его блестили как алмаз!

Или закатывал глаза и, копируя артистку Никищину, вздыхал: «Высокие отношения!»

Злоязыкая Сапрыкина так далеко не заходила, но обвиняла инородца в том, что он стал нахлебником и объедает бедную пенсионерку; но это неправда, Чебурек приходил совсем не для того, просто у Егоровны было тепло, чисто и тихо, а если он иногда и разделял скудную старушечью трапезу, то с лихвой отработывал. Поэтому, кстати, и Егоровна редко теперь читала вслух — ей казалось это неделикатным в присутствии не понимающего по-русски гостя. Чебурек же, даже когда не находил себе полезного занятия по домашнему хозяйству, без дела не сидел и всегда что-нибудь мастерил — вырезал он, например, из липовых чурбачков замечательные шахматные фигурки, но никто из его теперешних односельчан играть в них не умел и не хотел, так

что в итоге эти человечки, лошадки и слоники, раскрашенные цветными карандашами, были поделены между Тюремщицей и бабой Шурой и стояли в качестве художественных объектов в сапрыкинском серванте и на гогушинском телевизоре.

Кстати, о телевизоре. Скептический читатель уже наверняка скривил усмешкой ехидные уста, не веря в описанное мною смиренное благолепие бабы-Шуриных вечеров. Это под телевизор-то?! Под Кобзона — Баскова — Лолиту — Тимати — Рому Зверя — Мишу Леонтьева — Петра Толстого?! Под немолчную пальбу криминальных и силовых структур?! Под ржание Петросяна, Мартиросяна и Галустьяна?! Я вас умоляю!

Нечего меня умолять! Ваше замечание делает, конечно, честь вашей пронизательности и житейской мудрости, но дело-то все в том, что телевизор у Александры Егоровны давным-давно онемел и молчал в тряпочку, да и показывал своим прошловечным кинескопом не очень-то четко.

А благодарить за это мы и Гогушина должны Жорика, чья очередная безобразная и наглая выходка в кои-то веки послужила добру. Как-то с мучительного похмелья изобретательный хулиган и тунеядец взялся, вернее с трудом уговорил недоверчивую, но мягкосердечную хозяйку всего за поллитра не только починить давно уже барахливший ящик, но и переделать посредством нанотехнологий черно-белый старенький «Рубин» в цветной и стереофонический. Хлопнув два раза по «сто пэздесят» в качестве аванса, разворошив внутренность телевизора, получив отрезвляющий удар током, Жора отшвырнул отвертку и стал кричать на Егоровну, обвиняя ее в неправильной эксплуатации и нарушении

техники безопасности: «Медицина бессильна! Раньше надо было думать! Искра в баллон ушла!»

«Да он же без звука? Что ж ты наделал, бесовестный?» — попробовала возмутиться баба Шура, но в ответ услышала от заторопившегося восвояси безобразника только: «Оставь меня, старушка. Я в печали!».

Некоторое время Александра Егоровна ходила по вечерам смотреть настоящий цветной японский телевизор к Сапрыкиной. Но ничего, кроме расстройства и даже некоторой обиды, из этого не вышло. Тюремщица как полоумная щелкала пультом с канала на канал, а если где и задерживалась, то на программах и фильмах, которые целомудренная в обоих смыслах этого слова Александра Егоровна вынести никак не могла. Сапрыкина же раздражалась страстными и яростными ругательствами по поводу мировой закулисы, которая развращает наш народ, но, кажется, получала тайное удовольствие от этого Содома и Гоморры. А когда Александра Егоровна однажды, пользуясь отсутствием хлопотавшей по хозяйству Тюремщицы, почти уже досматривала индийский фильм «Маленький свидетель», возвратившаяся после дойки козы — ой, простите, нет ведь никакой козы! — в общем, вернувшаяся Маргарита безжалостно переключила телевизор на ток-шоу в самый волнующий и трогательный момент. Не стала Егоровна слушать и смотреть идиотов, всерьез обсуждающих, под руководством душки Малахова, можно ли взрослым дядькам спать с несовершеннолетними школьницами, встала и ушла, и больше уж не приходила, хотя Сапрыкина зазывала. А что случилось с индийским музыкальным сироткой, так она никогда доподлинно и не узнала, хотя сама для себя придумала финал,

практически не отличающийся от замысла болливудского сценариста.

Так что телевизор, неизменно по привычке включаемый, никак не мог нарушить благообразие гоголинских вечеров, и дом Александры Егоровны был одним из немногих мест, может быть, даже последним, куда не проникала вся эта свистопляска, замышленная адским Баламутом еще полвека назад, чтобы навсегда покончить с ненавистными и мучительными для бесов «тишиной и мелодией», и где стояла та самая, живая и вожденная тишина.

Что же касается мелодии, то переставший дичиться Чебурек, возясь со своими щепочками и проволочками, часто под сурдинку бубнил неведомые национальные напевы — монотонные, странные, но в общем-то приятные на слух.

Да и сама Александра Егоровна, как мне кажется, иногда напевала про себя, в глубине души:

Блажен взрастивший на сотках собственных
Сельхозпродукты — белокачанную
Капусту, и репчатый лук, и свеклу,
Картошку, моркошку и топинамбур!

Блажен по осени заготовивший
Огурцов соленых, капустки квашеной,
Блажен перетерший с песком смородину
И наваривший из шпанки варенье!

Блажен, кому достаточно пенсии
На бакалею и гастрономию,

На спички, соль, рафинад и масло
Постное. Даже на карамельки!

Кому слоняться путями грешными
Нет ни малейшей необходимости,
Кому ни к чему обивать пороги
В местном совете нечестивых!

Блажен имущий на зиму валенки
И крышу над головой беззащитною,
Кота от мышей, от воров собаку,
Хотя какой уж из Ладки сторож!

А коль случится какая надобность,
Бутыль самогонки хранится в подполе.
Только б о том не проведал Жора,
А то греха с ним не оберешься!

А если всплакнется над фотографией
Старенькой — что же, ведь было сказано:
Блаженны плачущие — они утешатся,
И снова встретятся. И не расстанутся.

Вот так, по-моему, пело под гудение немного телевизора ветхое старушкино сердечко. А собачка, дремавшая у ее ног, да и надменный Барсик на коленях слушали и, в общих чертах, соглашались. Ну а Николай Чудотворец, он же Санта Клаус, глядящий из своего красного угла, был согласен с Егоровной на все сто процентов. Ну и Чебурек, конечно, тоже, если бы ему кто-нибудь перевел.

И казалось даже, что и черно-белая Эвелина Блédанс в роли трагической бандерши элитного публичного дома, который пытаются прибрать к рукам коррумпированные менты и мафиози, и даже «последние герои» Никита Джигурда и Виктор Ерофеев, склочничающие с Ксенией Собчак из-за бытовых условий на тропическом острове, — ей-богу, казалось, что и они тоже согласны — благо вслух выразить свое мнение они не могли.

16. ВОЛКИ

*Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман,
Из лесов, тихомолком,
По полям волк за волком
Отправляются все на добычу.*
Алексей Константинович Толстой

Тревожное предчувствие, которое, по мысли автора, должно было бы возникнуть у чувствительного читателя из-за неоднократного поминания андерсеновской владычицы мрака и мраза, скоро сбылось. Вестником неминуемой беды явился пропадавший где-то почти неделю Жора.

— Ну чо, старухи, кердык вам. И тебе тоже, черный Абдулла! — радостно объявил он жителям затерянной в снеговых просторах деревеньки. — Все! Алес!

— Ты б закусывал бы изредка, — лениво процедила Тюремщица.

А Александра Егоровна из деликатности решила все-таки спросить:

— Случилось что, Жора?

— Случилось! Сидите здесь, ни х...а не знаете, а п...ец-то нечаянно подкрался!

— А ну кончай матюкаться! Проспись иди, рожа пьяная!

— Я-то, Ритулька, просплюсь, а вот вас-то как раз волки-то и схавают!

— Какие волки?

— Ага, какие волки! Нормальные такие волки, вульгарис! В Ильине на почтальоншу напали, курей поворовали, козу задрали, все сидят по домам, боятся!

— Ну ври!

— Вот те и ври! И на Коммуне вчера собаку прямо на цепи обглодали! И что характерно — пес здоровенный, настоящий волкодав! Ну а ты-то, подружка, — он наклонился к Ладе и ласково потрепал ее за ухо, — ты-то им на один зубок!

— Типун тебе на язык твой поганый! — обмерла Егоровна.

— Да слушай ты это брехло!

— Брехло, Ритунчик, твой папа! Когда вас волки трескать будут, узнаете! Ну, мне тут некогда с вами... Преду-прежден — значит, вооружен! Так что хмуриться не надо, Лада! — Жора еще раз потрепал Ладу. — Выживает сильнейший. Естественный отбор, е...нуть! Пошли, Гамсахурдия, не фиг тебе с ними бабиться. Надо оружие готовить!

И к ужасу Егоровны зарычал: «Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников...» и т. д. и т. п.

К сожалению, на этот раз Жора не брехал и даже не очень преувеличивал — по округе действительно рыскали жестокие и неуловимые хищники. Я лично не уверен, что это были настоящие волки, вполне вероятно, что ужас на окрестные деревни навела стая бродячих собак, одичавших и вконец потерявших человеческий облик и подобие, — а такие оборотни бывают, как известно, похуже любых волков.

Для этих извергов собачьего рода вообще нет ничего святого — они способны и в самом Переделкине нападать на классиков советской поэзии, что уж говорить о простых сельских тружениках.

Характерно, что даже кандидат биологических наук А. Д. Поляков, неутомимый исследователь и страстный защитник городских бродячих собак, об озверевших на лесных и полевых просторах псах пишет как-то глухо: «Если в городе я бы оставил собак в покое, то в сельских местностях бродячая собака играет другую роль. Роль пока явно не исследованную детально, но все же, по имеющимся данным, скорее отрицательную... — Хотя далее он, конечно, оговаривается: — Я не призываю уничтожать бродячих собак даже в сельской местности, а сначала как следует понять их роль в сообществе и хорошо подумать, прежде чем начать действовать».

Такая мудрая экологическая позиция для Жоры была абсолютно неприемлема. Действовать он начал немедленно. Неожиданно вспомнив своего деда-сибиряка, который «на медведя с рогатиной ходил», он заставил Чебурека сделать ему эту самую рогатину, которую представлял себе, конечно, в виде большой, как ухват, рогатки с заостренными концами. Поклонившись старухам и недоумевающему Чебуреку в пояс, сказавши: «Ну, не поминайте лихом, православные!» и совершенно перепугав Егоровну обращением «святая старица» и предложением «благословить на подвиг ратный», Жора, держа наперевес свое сибирское оружие, отправился в лес. Пробыл он там не очень долго, минут тридцать пять-сорок, но, судя по всему, мгновения эти свистели, как пули у виска, и были исполнены высокого драматизма и былинной героики.

- Двух ранил, одного убил! Самого матерого!
- Ну и где ж твой матерый, чучело?
- Да они ж его тут же и сожрали. Голодные, суки!

После этого тартареновского подвига Жора на охоту больше не ходил, решив посвятить себя охране граждан-

ского населения и патрулированию, рогатину заставлял та-скать за собой Чебурека, сам же мотался из конца в конец деревни с гитарой и исполнял мужественные песни Владимира Высоцкого и Александра Розенбаума и каких-то еще малоизвестных, но очень противных авторов «Радио-Шансон».

Но шутки шутками, а когда розовым морозным утром Егоровна обнаружила рядом со вчерашними следами Лады отпечатки огромных и, как ей показалось, многочисленных звериных лап, стало по-настоящему страшно.

С этого момента до кровавой развязки Лада выходила погулять только на несколько минут и всегда на непривычном коротком поводке, который тщетно пыталась перегрызть и обиженно скулила, но напуганной хозяйке было не до собачьих капризов.

В общем, стало в Колдунах нехорошо.

А тут и погода переменялась, завыл ветер, сделалась метель.

И то ли чудилось перепуганным моим персонажам, то ли и вправду с завываниями вьюги сливался волчий, зловещий и торжествующий, вой.

Чтобы в самых общих чертах передать смысл этого песнопения и послания, я позволю себе воспользоваться своим старым, но до сих пор невостребованным текстом.

В самом начале девяностых, лихости которых я по легкомыслию как-то не заметил, мечталось мне стать образцовым, идеальным отцом для моей новорожденной дочери. Среди неосуществившихся педагогических затей значилось и создание домашнего кукольного театра и написание для одного пьес, в подражание отцу маленького

Честертон. Первым делом я решил инсценировать в стихах свою любимую «Снежную королеву», предав ей значение универсального мифа, вернее прояснив и подчеркнув это значение. К счастью, я довольно скоро осознал, что детские книги — увы — могу только читать, с благодарностью и завистью, а написать что-нибудь действительно детски ясное, красивое и мудрое не способен. Тем не менее, хор полярных волков, запугивающих Герду в этой ненаписанной мною мистерии, будет здесь, как мне кажется, уместен:

Пусть сильнее взвоят вьюга,
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не уйти тебе, подруга,
От Врага!

Запуржила сила вражья
Все пути!
Ну куда ж тебе, дурашечка,
Уйти!

Не спасет тебя, свинюшка,
Тихий дом!
Дунем-плюнем, на клочочки
Разнесем!

Не аукай, не надейся,
Ни гу-гу,
Ни просвета в зачарованном
Снегу!

Перепутал лево, право,
Верх и низ
Волчий пастырь, бесноватый
Дионис*.

Эвое! — мы воем, воем,
Бредим, врем,
Кружим, кружим заколдованным
Кольцом!

Нет, не взвидеть света белого
Уже
Твоей маленькой, удаленькой
Душе!

Спета песенка дурацкая
Твоя!
Слушай, слушай же напев
Небытия!

Бесконечный, безобразный
Волчий вой!
Легион за легионом,
Тьма за тьмой!

* Волки здесь выказывают плохое знание классической мифологии. Ликейским (волчьим) звался почему-то как раз Аполлон. Ну, может, древнегреческие волки как-то и связаны со светозарным Фебом, но наши все-таки воплощают скорее темное вакхическое начало. Мои уж точно.

Песню древнюю поет
Ночной мороз
Про родимый вольный хаос,
Про хаос.

Исчезает в круговерти
Божья твердь!
Свищет ветер, воют черти,
Пляшет Смерть!

Свищет ветер, воют бездны,
Стонет ад,
Духи злобы поднебесной
Голосят!

Никого уже, девчонка,
Не спасешь!
Смерть и Время воцарились,
Мрак и ложь!

Не упрямясь же, не рыпайся,
Уймись,
Королеве нашей
В ножки поклонись!

Покоряйся, отдавайся же
Врагу!
Хорошо ли тебе, девица,
В снегу?

Во сугробах-гробах, детонька,
Нишкни,
Белой гибели на верность
Присягни!

Понятно, что ни моя малолетняя дочка, ни обитатели Колдунов не смогли бы угадать в этой песне всех предполагаемых автором метафизических и историософских глубин и отсылок к классическим текстам, разве что намек на трех поросят, но общий смысл того, о чем пела вьюга и выли волки, был всем предельно ясен и четко сформулирован Жорой: кердык!

17. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА ВОИТЕЛЬНИЦЫ ЛУКОМОРЬЯ

*Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратую, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.*

Федор Иванович Тютчев

«Ну, уж делай свои дела поскорей да пойдем домой», — убеждала собаку Александра Егоровна, еле различимая в темноте и метели не только нам с вами, но и самой Ладе, никак не желающей справлять нужду. Наконец, вынюхав нужное место, Лада покакала, обозначила задними ногами желание засыпать снегом оставленную кучку и потянула хозяйку домой — ей и самой было не по себе. Они уже были у самой калитки, когда услышали жуткий, совсем не похожий на собачий, лай и, обернувшись в ужасе, увидели сквозь буран приближающиеся стремительно, как в кошмарном сне, темные фигуры врагов. Не помня себя, Лада одним прыжком перемахнула через штакетник и была уже на крыльце, и, визжа, скреблась в дверь, когда Егоровну сбили с ног.

Ну конечно, Лада бросилась на помощь своей хозяйке, куда б она делась, совершенная любовь ведь побеждает страх, но — что греха таить — не сразу.

Прежде чем очертя голову ринуться в стан погибающих за великое дело любви, Лада за несколько страшных секунд успела исполнить жалобную и воинственную песнь, которая состояла из короткого испуганного визга, перешедшего в истошный лай и закончилась довольно жалкой имитацией свирепого рыка. В общем, воспроизвела практически все

типы звуков, которые в своей знаменитой работе 1976 года классик биоакустики Г. Темброк выделяет в речи домашних собак — кроме сопения-храпа, ворчания и чихания. В переводе же на человеческий, русский язык это звучит намного дольше и, надеюсь, понятнее:

Вот и пробил час и на наших часах.
Вот и Смерть у наших дверей.
Пасть ощерил из мрака извечный враг
Он пришел за душой моей!
Хвост поджав и трясясь за шкуру свою,
Как же я воспою
упоенье в бою,
Если горло сжимает страх?
Пробил час на наших часах!

Пробил час, ну а я-то что сделать могу,
Если даже ты не смогла?
Как отдать свое теплое тельце врагу?!
И за что же, за что подыхать на снегу?!
Спрячусь где-нибудь, как-нибудь я убегу
От клыков предвечного зла.
Я тебе все равно уже не помогу,
Враг огромен, а я мала.

И за что же, за что... Да понятно за что!
Бой за душу мою идет!
И откуда-то сверху незнамо кто
Подает мне команду: «Вперед!»

И откуда-то снизу другой шипит:
«Брысь отсюда, сучка! Тикай!
И давай-ка душонку свою спасай!
Ни за что, ни за что ее не отдавай!»
В задних лапках душа пищит.
Я ее отдаю
За Хозяйку мою!
Я у бездны пою на краю!

Ты спасала и сохраняла меня,
Хлеб насущный давала мне,
Если веником ты и лупила меня,
То всегда по моей вине!
Ты судила не по проделкам моим,
А по ласковости своей!
Ты прощала грехи,
Оставляла долги
Бестолковых своих зверей!
И не знаю, как Барсик — да черт бы с ним! —
Я останусь рабой твоей!

Никогда еще не кусалась я,
Да и нынче вряд ли кусну.
Из натопленного житья-бытья
Я сейчас на холод скакну!
Жалким лаем сама себя напугав,
Ну какой из меня, Госпожа, волкодав?!
Смерть поправ, я скакну сейчас!
Потому что мой пробил час!

Так веди меня в бой, моя Госпожа,
Хоть и нет упоения в нем!
Дай мне силы покрепче челюсти сжать
На загровке проклятом том!
Прокусить хоть разочек вражию шерсть,
Отстоять собачкину честь!
Так веди меня в бой, Хозяйка моя!
Укрепи дрожашую тварь!
Смерть, где жало твое? Вот душа моя!
Победить мы не в силах, но будет ничья,
И враги не пройдут — как встарь!

И вот, обреченно, как раненный Айвенго на наглого тамплиера, или Андрей Шенья на «убийцу с палачами», или оболганный и преданный генерал Корнилов, или полковник Штауффенберг, да господи, как Осип Эмильевич на Блюмкина и Алексея Толстого, бросилась Ладка на выручку Егоровне!

И тут же, пронзенная клыками, завизжала предсмертным визгом, забилась под темной грудой копошащихся вражеских тел, во мраке торжествующей злорадной метели. Маленькая Егоровна, не вставая со снега, поползла на четвереньках в сторону этого откатившегося к дороге страшного клубка.

Но — чу! Близятся крики! Мчатся на выручку Чебурек с рогатиной и Жора почему-то с гитарой! Держись, держись, Лада! Еще чуть-чуть, и подмога придет, еще совсем чуть-чуть, и мы победим! Ну же, ну! Гляди, как трусливо бегут враги, как простывает след посланцев внешнего мрака!

И вот уже маленькое бездыханное тело поднято с оскверненного снега добрыми Чебуречьими руками, и внесено

в избу, и бережно положено на кровать, и истекает невыносимо яркой на светлой шерстке и белом пододеяльнике кровью, и над ним истекает слезами и тихим, отчаянным криком ее хозяйка, и стоит в изголовье скорбный и безмолвный Чебурек, и даже прибежавшая Сапрыкина помалкивает, а Жора — не поверите — шмыгает носом и утирает бессмысленные свои буркалы.

Так закончился первый и последний бой верной Лады, отдавшей, как заповедано всем нам, душу свою за други своя.

18. РЕТАРДАЦИЯ

К какой он цели нас ведет?

О чем бренчит? чему нас учит?

Александр Сергеевич Пушкин

— А и правда, Тимур Юрьич, к чему вы, собственно, клоните? Только, ради бога, не обзывайтесь тупой чернью, и не дразните, пожалуйста, тем, что на нас якобы белила густо и в усах капуста! Или что нам, профанам, «недоступно все это».

— Да господь с вами! У меня и в мыслях не было таких странных дерзостей и неучтивостей. По поводу же цели бренчания позвольте привести две чудесные байки, на мой взгляд, почти что притчи.

Однажды, очень много лет назад я, отрабатывая оклад жалованья, присутствовал на научно-практической конференции по каким-то актуальным проблемам социологии культуры. Один из докладчиков был очень сановитый и очень толстый провинциал, который нес, видимо, страшную ахинею, за что на него сладострастно накинулась свора очкастых и бородатых столичных мэнээсов. Один из этих ехидных молодых людей заявил, что вообще не понимает, какую цель преследует докладчик. На что затравленный докладчик, побагровев, с достоинством ответил: «Я не преследую никакие цели! Я заведу кафедру!»

И вот еще — в годы хрущевской оттепели после одного из вернисажей неофициальных или не совсем официальных живописцев состоялась, как водилось тогда, жаркая дискуссия. Один из прогрессивных комсомольских курато-

ров, озадаченный неким едва ли не абстракционистским портретом фиолетового кота, раздраженно спросил: «Что же хотел сказать художник этой кошкой?», на что какая-то остроумная стилистка произнесла на весь захохотавший зал: «Мяу!».

Но я — увы — никакой кафедрой не заведу, важничать не привык и отвечать гавканьем на, как мне кажется, вполне резонный вопрос не намерен. Я ведь, в отличие от Левы Рубинштейна, не считаю, что «искусство ничему не учит и никуда не ведет». Да еще как учит, не меньше, чем семья и школа, только, к сожалению, все больше гадостям и пошлостям и ведет все чаще в такие места, куда ходить нам не велено и не нужно.

Поэтому я охотно и смиренно отвечаю: цель моя вполне традиционна и достохвальна — пробудить лирой добрые чувства, в частности вызвать или хотя бы выразить жалость, ту самую Pity, которую Джон Шэйд в разговоре с приставучим Кинботом назвал password'ом и почему-то, насколько я помню, противопоставил христианским добродетелям.

Вот эту нестерпимую жалость ко всяким обреченным старушкам и собачкам, к незащитным лесам, небесам и загаженным тихоструйным водам, к ошалевшим от пьянства и бессмыслицы балбесам и к ветхим книжкам из малой и большой серии «Библиотеки поэта», которые по привычке все еще почитаются бессмертными, но дальнейшее существование коих тоже ничем, ничем не гарантировано! Да господи, даже ко всем этим, до сих пор многочисленным, русским и русскоязычным тимурюрьичам, хотя уж это смехотворное племя, казалось бы, никакой жалости не заслужило своими бесстыжими кривляниями последние полтора

века. Выразить к ним (к нам) ко всем жалость и подавить хоть на время панический ужас и бессильную, постыдную злобу.

Ну и, естественно, объявить благодарность! С занесением в сокровищницу русской культуры.

— «Всемирной немоте назло»?

— Иронизируете? Да, именно — «Всемирной немоте назло»!

— Гм-гм...

19. ВСЕ ЕЩЕ РЕТАРДАЦИЯ

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Александр Сергеевич Пушкин

Автор (*все еще растроганный собственным лирическим порывом, но уже начиная раздражаться*). Что «Гм-гм»?

Читатель. Да нет, трогательно... и действительно достопохвально... Я вот только предлагаю предпослать вашему сочинению эпиграф, вы же к ним питаете прямо-таки болезненную страсть:

Товарищ! Певец наступлений и пушек,
Ваятель красных человеческих статуй,
Простите меня, — я жалею старушек.
Но это — единственный мой недостаток!

Автор. Ну уж единственный! У этого поэта были недостатки и посерьезнее. Например, изысканное сравнение травы с малахитом. А красные кавалеристы, держащие в зубах «Яблочко-песню» и играющие эту же волшебную мелодию «смычками страданий на скрипках времен»? А ведь пронял даже Цветаеву этой революционно-конфетной романтикой...

Читатель (*с вежливой, но обидной улыбкой*). Да бог с ним со Светловым. Я к тому, что конфетная сентиментальность тоже, уж извините, кажется несколько архаичной и приторной. Описывать все сплошь одних старух...

Автор (*горячась все более*). «И скучно и не в моде»? И пишу я, соответственно, «в захудалом роде»? Не пойму —

вы мне польстить пытаетесь таким уподоблением или же подчеркнуть мою литературную мизерность?

Читатель (*снисходительно*). Да нет же. Ни то ни другое. Как бы вам это поделикатней объяснить. Ну вот как вы относитесь к такому утверждению: «Художник, как и ученый, в ходе эволюции искусства или науки все время раздвигает горизонт, углубляя открытия своего предшественника, пронося в суть явлений все более острым и блистательным взглядом».

Автор (*теряя терпение*). А можно все-таки без пошлостей?

Читатель (*с хорошо скрытым злорадством*). Ну если это и пошлость, то никак не моя, а вашего разлюбезного Набокова.

Автор (*смутившись и мучительно покраснев*). Ну Набокова... Из лекций небось... Мало ли он там глупостей наговорил... Про Достоевского и вообще... Про Элиота даже... Хотя вообще-то, что ж... В принципе, может быть и верно... Вот только жаль, что все эти раздвижения горизонта и углубления открытий чаще всего понимаются и сводятся к тому, что если предшественник описал любовные страдания педофила, то последователь обязан описать приключения как минимум скотоложца или еще что-нибудь позабористей. И выходит никакое не проникновение в суть явлений и никакая не эволюция, а ровно наоборот — стремительная и непоправимая деградация и дегенерация... А вообще-то в этой фразе сквозит такая наивная и мелкобуржуазная вера в благодетельный прогресс и в неуклонное поступательное движение вперед и выше, что в пору даже усомниться в том, что это Набоков... Да нет, нет, я вам верю... Но уж очень

смешная выходит картинка — как на плакате в кабинете биологии, где слева направо представлено происхождение человека. Только тут в виде косматой и длиннорукой ископаемой обезьяны окажется «друг веков Омир», австралопитеками и питекантропами предстанут Дант, Тасс и Шекспир, угрюмыми неандертальцами Флобер и Толстой, а впереди всех, конечно же, в виде полноценного человека прямоходящего сам Владимир Владимирович в пенсне и с рампеткой. Подозреваю, что в худые минуты он и вправду мог так думать. И между прочим, когда читаешь (и пока читаешь) «Дар» или «Приглашение на казнь» или «Pale fige», ты и сам готов в это поверить — в смысле, что лучше уже и быть ничего не может, и последующим поколениям писателей останется только, как сказал бы Жора, «курить в сторонке». Хотя сейчас мы, безо всякого сомнения, именно этим и занимаемся... но вообще-то... *(Не знает, что сказать.)* Короче, все гораздо сложнее и ни в какие схемы не укладывается... А что это вы такую нарочито скучающую физиономию скорчили?

Читатель. Да ну что вы, Тимур Юрьич. Как можно? Просто, возвращаясь к вашему творению, хотелось бы адресовать вам античный (в переводе Фета) вопрос: «Кто же это станет читать?»

Автор *(окончательно выходя из себя)*. Кому надо, тот и станет... Я, между прочим, никому не навязываюсь. А не нравится — вон, читайте какой-нибудь свой нацбест, а еще лучше «Морпехов в Куршавеле».

Читатель. ???

Автор. Такой роман — в самом, я думаю, незахудалом роде.

Читатель. Сами придумали?

Автор. Да вот зуб даю! Ленка видела в аэропорту. Жалко не купила.

Читатель. Забавно... Но вот что, по-моему, еще забавнее — так это ваша многолетняя уверенность, что у меня (читателя) нет никакого другого выбора — или ваши высокоморальные и высокохудожественные тексты, или эти вот ублюдочные морпехи. Будто уж ничего иного в современной российской словесности и нет. Помните, Гриша Дашевский еще десять лет назад иронизировал над этой вашей трогательной убежденностью, что вы один-единственный стоите за Истину, Добро и Красоту, а все остальные литераторы поголовно состоят на службе у злобной и уродливой лжи и — как вы бы добавили — ее Отца.

Автор (озлобленно). Ну, все не все... Примеров, как говорил Горбачев, немало!.. Да речь же не о разделении на божьих агнцев и козлиц. Настоящих буйных среди литераторов не так уж и много, а агнцев вообще никогда не водилось! Как справедливо отмечал Джон Шэйд, «without Pride, Lust and Sloth poetry might never have been born»*. Речь только о принципиальных установках, между прочим не столько религиозных и нравственных, сколько эстетических. Оставим вообще «в столь часто рушимом покое» христианство. Давайте лучше пользоваться киплинговской схемой. Есть the Gods of the Market-Place и the Gods of the Copybook Headings**. И я предпочитаю служить вторым,

* Без гордыни, похоти и праздности поэзия никогда не смогла бы родиться. (Перевод Сергея Ильина.)

** Площадные боги, Азбучные боги. (Перевод Михаила Гаспарова.)

хотя бы потому что служение Божествам базара оборачивается таким позорным и жалким заискиванием перед всякой идиотской модой и такой несвободой, пошлостью и кривляньем... Не в смысле алкания денежной корысти, конечно, а в смысле рабствования перед разбалованной и обнаглевшей чернью, площадной новизны и броскости, прикольности и эпатажности во что бы то ни стало. Прописные же истины...

Читатель (*тоже горячась*). Ну, с прописными истинами у вас все в полном порядке. Буквально ничего кроме! «Кароши люблю, плохой — нет!»

Автор (*почти уже орет*). Да что ж плохого в любви к хорошему? Да разуйте же глаза! Пока ваши цветы зла были оранжерейными диковинами, что называется, на зажавшегося любителя — так и хрен бы с ними. Но сейчас-то эти цветочки принесли такие ягоды, разрослись таким пышным и наглым цветом, что заглушили уже все другие растения, так долго и с таким трудом культивируемые! Влюбом сериале для домохозяек и триллере для тинейджеров так лихо и с такой дикарской убежденностью отрицаются разом все десять заповедей, как и не снилось демоническим декадентам и революционным авангардистам!

Читатель. Ну, вам дай волю, вы б, наверно, цензуру бы ввели!

Автор (*теряя — увы — человеческий облик*). Да пошли вы в жопу с вашей цензурой!

Читатель. Ну вот это уже аргумент!

Автор. Ну простите... Но не согласен я подражать всем этим дурачествам и единственную жизнь тратить на такую х...ню!

Читатель. Да успокойтесь, никто вас не призывает... Но советую все-таки вот о чем подумать — те, кто способен умилиться вашими асадовскими старушками и собачками, как раз и будут с удовольствием читать про морпехов, или про выходящих за олигархов домработниц, про тех же воительниц Лукоморья, безо всяких этих постмодернистских выкрутасов. А те, кто в принципе мог бы поучаствовать в ваших цитатных оргиях и стилизаторских вакханалиях (честно говоря, немного утомительных и иногда — уж простите — грешащих против хорошего вкуса), те с неизбежностью отвратятся от подобного сюжета. Ну пора уж, ей-богу, оставить эти детские мечтания — ну не удастся уже никому совместить дедушку Крылова и, скажем, Себастьяна Найта. Равно как и привить ложноклассическую, давно уже безуханную розу к постсоветскому дичку.

Автор. Причем здесь... А вообще, что это за хамский тон?! Я все-таки, с вашего позволения, не Чернышевский какой-нибудь, чтобы пикироваться с воображаемыми и не очень умными читателями!

Читатель. Помилуйте, да это ж вы сами и придумали! И хамите, по-моему, именно вы!...

Автор. Как придумал, так и передумал! Все! Не смею задерживать! И впредь па-а-апрошу не умничать и не в свое дело нос не совать!

Так Автор остается один-одинешенек, горько сетует на свою несдержанность и глупость, чуть не плачет от обиды и страха, но все-таки упрямо делает вид, что он «тверд, спокоен и угрюм».

20. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

*Испытанья время строго,
Тот, кто пал, восстанет вновь:
Много милости у Бога,
Без границ его любовь!*

Алексей Степанович Хомяков

— Ой миланочка ты моя, Ладушка моя, как же ты так, как же ты, девонька? Что ж теперь будет? Ну что ж ты молчишь-то, солнышко мое?

Лада действительно оставалась безмолвной, только тяжело и хрипло дышала сквозь непривычно и страшно оскаленные зубы.

И никто не сказал по-дружески бабе Шуре, как капитан Смоллет сквайру Трелони, рыдающему над трупом старого Тома: «Не огорчайтесь так сильно, сэ. Он умер, исполняя свой долг. Нечего бояться за душу такого человека. Я не силен в богословии, но это дела не меняет». А в подлиннике еще лучше: «All's well with him; no fear for a hand that's been shot down in his duty to captain and owner. It mayn't be good divinity, but it's a fact».

Вот тут бы и конец моему повествованию, кабы не Жора.

— «Скорую» надо вызывать!

— Какую «скорую», дурья твоя башка! — возмутилась Сапрыкина.

— Обыкновенную! Скорую медицинскую помощь. Ноль-три.

— Да ты совсем уж ополоумел!

— Так ведь и телефона у нас нет, — тихо молвила заплаканная баба Шура.

— В Коммуне есть! Бен-Ладен сбегает!

Чебурек энергично закивал кудлатой головой.

— Много он наговорит, твой Чебурек!.. Да телефон-то есть, только кто ж поедет ваших собак лечить, да в такую вон погоду, олухи вы царя небесного?

У Сапрыкиной действительно был новенький, ни разу еще не использованный мобильный телефон, подаренный в прошлый приезд сыном.

— Тащи мобилу, Марго!

— Делать мне больше нечего!

Егоровна умоляюще взглянула на суровую подругу:

— Рит, ну а вдруг да поедут? Или что-нибудь скажут, как лечить-то ее?

— Да не сходи ты с ума, Егоровна! Ну кто что тебе скажет! — злилась Сапрыкина, но за телефоном все-таки под охраной Чебурека ходила.

Оказалось, естественно, что аппарат не заряжен, так что чертыхающейся Тюремщице пришлось еще раз тащиться за зарядкой.

— Ну потом на меня не пеняйте! Я предупредила! Ничего путного из этого не выйдет! Нарветесь на неприятности!

— Не ссы в компот — там повар ноги моет! — успокоил ее самоуверенный Жорик. — Так, есть контакт! Алё! Скорая? Примите телефонограмму! Срочно! Экстренный вызов! Нападение диких зверей! Каких-каких! Бешеных! Стая бешеных волков! Волков позорных! Потеряла много крови! Требуется хирургическое вмешательство! Колото-резаные раны! Да порвали на немецкий крест! Кого... Жительницу!

Заслуженную колхозницу Российской Федерации! Архиважное дело! Записывайте — деревня Колдуны, дом восемь! Жду! Конец связи!.. Ну вот и все, а ты боялась! Ща приедут!

— Ты чо наделал-то, ирод? Какая колхозница?!

— А что, рабочая, что ли? Или творческая интеллигенция? Главное, чтоб приехали, а там разберемся! Ты, Егоровна, только бабки им сразу... — но уверенности и куража в голосе Жорика как-то поубавилось, он и сам, кажется, понял, что «маленько лишканул».

Ждать пришлось долго. Егоровна тихо плакала и причитала над недвижимой Ладой. Жора пытался что-то сбавить на треснувшей гитаре, но был резко осажен Маргаритой Сергеевной. А Чебурек, продуваемый насквозь злобным бураном, торчал на дороге, выглядывая запаздывающую медицинскую помощь.

Неожиданно Лада, вынырнув из предсмертного забытья, попыталась встать и страшно завизжала и заметалась, запутавшись, как Лаокоон, в неумелых повязках из разорванной простыни. Тут и Егоровна взвела в полный голос, обняла отходящую в неведомый нам мир собаку, потом вскочила, ухватила потрепанный Молитвослов и — не вмени ей это в вину, Царица Небесная! — пав на колени пред Ладиным ложем, заголосила:

— О премилосердный Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельной Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба твоего имя рек (она ведь считала что «имя рек» это такое специальное религиозное название, она так же обозначала и Ивана Тимофеевича и Ванечку, когда молилась за них), болезнью одержимого; отпусти ему вся согрешения его!

Тут Маргарита Сергеевна, которая поначалу просто остолбенела и онемела от такого безобразного кощунства, с криком: «А ну прекрати сейчас же, сумасшедшая ты старуха!» вырвала из слабых рук Егоровны Молитвослов, распавшийся от такого насилия на отдельные тетрадки и листки. Но Егоровна, даже на миг не прервавшись, продолжала по памяти творить свою в общем-то незаконную молитву:

— Подай ему исцеление от болезни; возврати ему здоровье и силы телесные; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твои и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, всещедрому Богу и Создателю моему.

— Да побойся же ты Бога, греховодница! Что ж ты творишь, придурочная?

— Пресвятая Богородица, всеильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия имя рек! Все Святые и Ангелы Господни, молитесь Богу о больном рабе Его имя рек. Аминь!

И тут сквозь завывания метели послышался приближающийся шум мотора, а потом радостные крики Чебурека: «Ыззих, ыззих! Тол бель!»

— Ну, щас вам будет скорая помощь! — зловеще пообещала Сапрыкина.

Хотя всем и без нее было боязно.

И вот дверь распаивается и в горницу с клубами пара вваливаются — сначала возбужденный Чебурек, показывающий дорогу, а за ним бальзаковского возраста врач в каракулевой шубке и кругленький, как Сиропчик, молодой фельдшер. Щурясь и протирая запотевшие с мороза очки, врача спрашивает: «Ну, показывайте, что у вас». Ей показывают.

Очки надеты. Из тумана является Лада, как перровский волк на бабушкиной кровати. Воцаряется безмолвие. Ненадолго.

Если б ситуация более располагала к шуткам и веселью, а врачиха была более остроумна, она бы, наверно, спросила: «Пациент, а почему у вас такие большие уши?»

Но дело складывалось вовсе нешуточное.

— Что это?.. Что это такое?..

Что-что. А то сама не видишь, мымра четырехглазая, — не что иное как раненая и нелепо перевязанная собачка, укрытая одеялом.

— Ты только не сердись, доченька! — робко начала Александра Егоровна.

— Доченька? Вы... Вы что?! Вы издеваетесь?! Да это... Да как же... Да вы понимаете, что это уголовное дело! Люди не могут дождаться, а вы... Кто вызывал «Скорую»?!

— Доченька, миленькая, ты не сердись, ну не сердись! Ну что ж нам делать-то? Помирает ведь собачка...

— Собачка?! Собачка у вас помирает?! Я вам покажу собачку! Это вы у меня запомните...

Тут Тюремщица, которая уже вполне насладились сознанием собственной правоты и перепутом непослушных односельчан, не выдержала:

— А чо это вы тут так разорались?! А?! Какое такое уголовное дело? Ты тут не очень! Видали мы таких! Вы, между прочим, с ветераном труда разговариваете! Если произошла ошибка...

— Ошибка?! Ах, ошибка, значит?! Хорошо! Хорошо же! Я это так не оставлю! Я...

Но тут как валаамова ослица возопил давно уже кипящий и заламывающий руки Чебурек:

— Бэтам кэфу сет нэвот! Хаким сихону макэм аллебэт! Вущау мемот йичаллаль! Лемын йичоххаль? Айафрум? Арогиту войзеро Лада бича аллебачоу!!

Сапрыкина, хотя и сама немного перепугалась этого неожиданного и страстного словоизвержения, тут же подхватила:

— Вот именно! — И, чтобы добить онемевшую медицинскую даму, укоризненно и презрительно добавила: — Врачу — исцелился сам!

А тут и Жорик, который порядком-таки струхнул и даже протрезвел и в этом измененном состоянии сознания не мог как следует участвовать в скандале, все-таки вякнул:

— Короче, Склифасовский!

— Так! Ну все... Это дурдом какой-то. Все, поехали. Но вам это с рук не сойдет! Так и знайте! Так и знайте!

— Перестань орать, — вдруг сказал фельдшер.

— Что?!

— Орать прекрати, говорю!

— Ты что, Юлик?

— Да ничего!

Стоит, наверное, сказать, что последующее поведение Юлика было обусловлено не только его добротой и деликатностью (хотя в первую очередь, конечно, ими), но и явным напряжением (очевидно, эротического характера), существующим между ним и врачом, а также его неосуществленной мальчишеской мечтой иметь собаку — у матушки, с которой он жил, была аллергия на песий мех. Как бы то ни было, Егоровна тут же определила слабое звено и, уже не обращая внимания на пыхтящую от негодования, раскрасневшуюся медичку, направила свои мольбы к этому полному еврейскому юноше:

— Сыночек, помоги, ради Бога! Сделай что-нибудь. Ее ведь и правда волки подрали. Ну пожалуйста! Ведь помрет...

Юлик пожал широкими округлыми плечами:

— Ну давайте посмотрим.

— Ах так? — взвилась врачиха. — Прекрасно. Просто прекрасно! Ну, можешь оставаться. Мы уезжаем. Немедленно!

— Счастливого пути!

— Смотри, пожалеешь, Юличек, пожалеешь!

— Давай-давай!

— Ветеринар сопливый!

— Угу.

— Катись колбаской по Малой Спасской! Дебилка-лепилка, фригидка-айболитка! — напутствовал бедную эскулапку расхрабрившийся Жора. А вслед еще и пропел: — Не-е жени-тесь на-а медичках! О-они то-онкие-е, как спички!

Хлопнуть, как следует, дверью врачу не удалось — дверь Иван Тимофеевич обил для теплоизоляции войлоком.

21. ВЕЧЕРЯ

*Приди, разделим снедь убогу,
Сердца вином воспламеним,
И вместе — пенопенья богу
Часы досуга посвятим;*

*А вечер, скучный долгою,
В веселых сократим мечтах;
Над всей подлунною странюю
Мечты промчимся на крылах.*

Николай Иванович Гнедич

Колото-резанные раны оказались не такими уж страшными и глубокими. Возможно, в итоге Лада бы и сама их залила. Но вот левое ухо наверняка осталось бы надорванным, если б не наложенные твердой рукой Юлика швы.

Фельдшеру, понятное дело, пришлось в Колдунах заночевать. Александра Егоровна на радостях совершенно потеряла голову, забыла о всякой экономической целесообразности и закатила пир на весь мир — задействовав стратегический неприкосновенный запас. Так что китайская тушенка, «Завтраки туриста» и две бутылки настоящей водки (еще той, приобретенной по лихачевским талонам) не дождалась пресловутого черного дня и были оприходованы в этот радостный вечер, а точнее сказать ночь — потому что ужин, естественно, затянулся.

Поначалу-то никакого *soirée* Егоровна затевать не собиралась, просто хотела хорошенько накормить чудесного спасителя, ну и, конечно, Чебурека, помогавшего Юлику

и державшего Ладу во время болезненных процедур, которые она, надо сказать, переносила на удивление покорно и стойко, только иногда приглушенно стонала, как комиссары в пыльных шлемах, пытаемые в белогвардейской контрразведке, в исполнении народных артистов СССР.

Но не прогонять же было любопытную Сапрыкину и алчного Жору, да последнего-то никому бы и не удалось прогнать, он еще до окончания перевязки уже вертелся вокруг Егоровны, приговаривая:

— Ну, хозяйка, с тебя магарыч. Тут одним литром не отделаешься! Можно сказать, заново родилась твоя Ладка! Так что проставляйся, Егоровна, не жидись!

— Да погоди ты, ради Христа, со своими литрами! А это что ж такое, сынок? — с тревогой обратилась баба Шура к Юлику, который в этот момент надевал на Ладу сделанный Чебуреком из толстого картона елизаветинский воротник, в котором мордочка собаки выглядела душераздирающе жалобно.

— Это чтобы она бинты не растрепала.

Наконец все было завершено, Лада вновь уложена (к бешенству Барсика) на кровать, куда она с этих пор по умолчанию получила право доступа, картошка с тушенкой и жареным луком, приготовленная к этому времени Сапрыкиной в большущей кастрюле, поставлена на стол, ее окружили тарелки с солеными, квашеными и мочеными закусками, и даже два блюдца с пожертвованной Тюремщицей брауншвейгской колбаской, ну и стопочки для водки и чашки для запивки, — давно уже гогушинское жилище не видало такого изобилия. Пока шли приготовления, Жора с Юликом курили и знакомились в сенях.

— Георгий, — представился Жорик, которому почему-то пришла охота важничать. — Глава, так сказать, местной администрации.

— Очень приятно. Юлий.

— Ну и как, Юра, обстоят дела?

Юлик давно уже привыкший к подобным переименованиям, не стал поправлять Жору, который ему все меньше нравился, и уточнять, какие именно дела его заинтересовали.

— Нормально.

— Как финансирование?

— Что?

— Финансирование, говорю, как? Хватает?

— Более-менее.

— А у нас в сельском хозяйстве — полный абзац. По остаточному принципу. Прямо геноцид какой-то. Плюс незаконная миграция. Чебурека видал? Иногда буквально опускаются руки.

— Мда... Бывает... — Юлик затушил недокуренную сигарету.

— Ну ладно, Юрец. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? А то бабцы там уж заждались... — Жора лукаво подмигнул, а Юлик впервые пожалел, что поддался неразумной жалости и вот теперь должен черте с кем и черте где пить дешевую водку и есть нелюбимую вареную картошку.

Но, взглянув на сияющую Егоровну, юный фельдшер понял, что поступил правильно и что многое ему простится за эту, в общем-то, дикую и глупую выходку.

Да и картошка оказалась на самом деле на удивление вкусной, Юлик потом и сам будет ее так готовить.

Да и первый тост, который Сапрыкина провозгласила в его честь, сказав, что на таких, как Юрий Феликсович, держится земля русская, и пожелав ему здоровья, успехов в работе и радости в личной жизни, ему был лестен и приятен.

Ну а после «перерывчика небольшого» выпили, конечно, за скорейшее выздоровление заглавной героини, и уже даже Жориково рифмование Юрца с молодцом, концом, огурцом и п...ецом уже не так сильно раздражало и казалось даже смешным.

И очень потешным был огромный Чебурек, которого Жора при пособничестве Сапрыкиной заставил-таки выпить до дна стограммовую стопку — иначе, мол, Лада не поправится. Чебурек мгновенно захмелел, против второй уже не очень возражал и даже попытался произнести тост: «Юлий — туру хаким ноу!».

Выпить третью Егоровна ему не дала, пристыдила спаивающих наивных инородцев весельчаков, и дальше Чебурек чокался компотом, но блаженно и глупо улыбался, а когда пошло неизбежное пеньё, даже тихонечко подпевал.

Открыл вокальную часть вечеринки, конечно, Жора. Страшно рыча и даже брызжа слюной, он заорал наиболее, по его мнению, подходящее произведение Владимира Семёновича Высоцкого:

А у дельфина
Сррррезано бррррюхо винтом!
Выстррррррела в спину
Не ожидает никто!
На батаррррее
снаррррядов нет уже!

Еще тррррднее
На виррррраже-е-е-е!
Но паррррус!
Порррвали парррус...

Одновременно с парусом порвалась, не выдержав жорикового самозабвения, еще одна струна, так что гитару пришлось (к облегчению бабы Шуры) отложить. Но мужественный Жорик попытался все-таки а капелла исполнить «Охоту на волков», топая ногами и стуча кулаками по столу, но был тут же остановлен возмущенными такой бестактностью слушателями.

Жорик покорился, но затаил в душе обиду и злобу, совсем как Маргарита Сергевна на достопамятном конкурсе художественной самодеятельности. Поэтому, когда сама Тюремщица запела любимую песню из своего репертуара, Жора стал, как это было принято в пионерлагерях, шутить и громким шепотом вставлять попеременно «В штанах» и «Без штанов» после каждой печальной лирической строки:

Погас закат за Иртышом.
Село огнями светится.
Ах, почему ты не пришел?
Я так хотела встретиться!

Получалось глупо, но смешно, так что не только Егоровна, но и Юлик с трудом сдерживали неуместный хохот. Сапрыкина замолчала и посмотрела со значением в глаза Жоры.

— Все-все, осознал! Б... буду, Марго! Молчу как рыба об лед!

— Ну правда, Рит, ну не обижайся, мы больше не будем. Ну спой! Ну все ведь слушают, ну что ты, — стала успокаивать гордую певицу Александра Егоровна.

— Спойте, пожалуйста! — присоединился и Юлик. — Очень красивая мелодия, я никогда не слышал. И голос у вас такой замечательный!

Перед такой изысканной лестью Сапрыкина устоять, естественно, не могла и запела снова. Жора на сей раз не мешал почти до самого конца, до повторения зачина, но тут не выдержал и пропел дурным голосом последнюю строку, заглушая солистку и заменив печальное «хотела встретиться» вакхическим «хотела трахнуться».

Убежать он, как было запланировано, не успел, потому что Сапрыкина была настороже и, молниеносно перегнувшись через стол, ловко и жестоко, как Барсик, ухватила охальника за вихры, а другой рукой нанесла короткий и звонкий удар. Успокоить Тюремщицу удалось не сразу, но наконец она смилостивилась и, тряхнув Жорика последний раз, отпустила свою жалкую жертву со словами: «Скажи спасибо Юрию Феликсовичу, гад!».

Жорик начал было кобениться, сказал, что после такого унижения человеческого достоинства остаться не может и что ноги его здесь больше не будет, но, заметив, что никто его особо не удерживает, почел за благо утомиться и больше благочиния не нарушал.

А что же Лада? Поначалу она спала крепко и сладко, как больной ребенок, во время скандала проснулась и даже немножко потявкала слабым голосом. Чебурек, робость и застенчивость которого заглушил алкоголь, пользуясь тем, что все заняты улаживанием конфликта, подсунул ей неза-

метно свою тарелку с остатками вкусной тушенки, да еще и несколько кусочков колбасы туда положил. А когда Сапрыкина и Юлик дуэтом пели по заявкам Егоровны русскую народную песню «Помню, я еще молодухой была» на слова совсем уж позабытого поэта Евгения Гребенки и дошли до «К нам приехал на квартиру генерал... Весь простреленный, так жалобно стонал», Лада повела себя как Жорик, то есть стала комически подвывать, напоминая того израненного генерала, но на нее никто не обиделся и не рассердился, а наоборот, все ужасно развеселились.

Так вот они и сидели, и пели, и смеялись за полночь в крохотном кубике bestолкового человеческого тепла и слабого света посреди морозного мрака, ничем, в сущности, не огражденные от тьмы, кромешной и вечной. Ведь жизнь наша с вами ничем существенным не гарантирована, держится ведь действительно на честном слове, на том самом Пречестном Слове.

Я даже хотел к этой главе взять другой эпиграф: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мат. 18, 20. Но потом все-таки одумался. Это уж был бы перебор, может быть, даже и кошунственный.

Собрались-то они де-факто во имя ничем не примечательной, хотя и очень славной дворяжки.

22. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

О МАЛЕНЬКОЙ ДОБРОТЕ И БОЛЬШИХ ПОЭТАХ

*Входя ко мне, неси мечту,
Иль дьявольскую красоту,
Иль Бога, если сам ты Божий.
А маленькую доброту,
Как шляпу, оставляй в прихожей.*

*Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?*
Владислав Фелицианович Ходасевич

Не секрет, что поэтические тексты способны иногда воздействовать не только на психическое, но и на физиологическое состояние реципиента.

Ушко девическое может разалеться, пресловутые мурашки бегают по юношеской спине, учащается пульс, прерывается дыхание от пиитического восторга, и неудержимо струятся старческие слезы, как недавно, когда я спьяну пытался читать вслух давно знакомое, читанное-перечитанное:

*Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
От слепых наплываний твоих.*

Все эти явления широко известны и неоднократно описывались в художественной и научной литературе. Менее изучен (поскольку менее распространен), но не менее интересен другой феномен.

Иногда при чтении стихотворного текста щеки заливают волна такого жгучего и невыносимого стыда, какой редко чувствуешь, даже когда сам совершаешь что-то бесконечно гадкое, причем на виду у всех родных и знакомых. И происходит это совсем не тогда, когда мы читаем бездарные графоманские стихи, нет, это связано как раз с текстами формально безукоризненными и написанными хорошими, а иногда и очень хорошими, может быть, великими (как в случае со стихотворением, вынесенным в эпиграф) авторами.

Девятистишие это я впервые прочел в те уже довольно далекие времена, когда немного запоздало, но решительно и бесповоротно вступил на путь, ведущий от, условно говоря, Блока—Байрона к еще более условным Честертону—Чехову. «Солнце в шестнадцать свечей» казалось мне тогда (да и сейчас кажется) одной из путеводных звезд на этом кремнистом-тернистом пути, не говоря уже о «звезде в пролете арок». Так что лучшие стихи Ходасевича на папиросных машинописных листах я к тому времени уже давно знал и любил. Тем горше и обиднее было мне читать эти горделиво-язвительные, но не очень остроумные строки.

Я не знаю в точности, какого-такого бога было позволено проносить гостям Владислава Фелициановича, но, уж конечно, не того Бога истинна от Бога истинна «нас ради человек и нашего ради спасения спешшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася». Потому что Его можно, конечно, представить в самой сомнительной

компании, вплоть до блудниц и налоговых инспекторов, но среди обладателей дьявольской красоты, намеревающихся побыстрее нас, человек, позабыть-позабросить, Он вряд ли уместен. Ну а поскольку по учению святых отец иные бози суть падшие ангелы, то бишь беси, то перечень дозволенного к проносу в квартиру Ходасевича оказывается совсем уж куцым. Можно, конечно, попытаться протащить Благоую Весть под видом неопределенно-возвышенной и разрешенной мечты, но думаю, бдительный хозяин с этим быстренько разберется и вежливо попросит подобные антиромантические мечтания впредь оставлять вместе с маленькой мещанской добротой на вешалке в прихожей. Где им, в сущности, и место, поскольку одно без другого не бывает, а среди ходасевичевых гостей, вознамерившихся быть или ангелами или демонами, им места нет и быть не может.

А писано это в июле 1921 года, за месяц, между прочим, до расстрела Гумилева, да и немыслимая по зверству гражданская война тогда ведь еще толком не закончилась, в общем, как мне кажется, у поэта были все основания не изгонять из собственного жилища доброту, пусть самую крошечную, а ужасаться ее исчезновению, вернее истреблению на одной шестой земли.

Н. Н. Мазур, когда я сбивчиво и страстно излагал ей примерное содержание этой главы, высказала осторожное и остроумное предположение, что на самом деле это стихотворение может быть пародией.

Кто его знает, филологам и историкам литературы оно, конечно же, виднее, но ведь и у нас, простодушных читателей, нельзя окончательно отнимать право судить и трактовать, а то что ж это будет?

Да и в конце концов неважно, пусть будет пародия! Речь-то я веду не столько о Ходасевиче...

Хотя, нет, все-таки не верю. Во-первых: Ходасевич замечательный поэт и, если бы писал пародию, она бы вышла посмешнее, вот как Дмитрий Александрович, например, пародировал следующее поколение уже советских романтиков:

Я с детства не любил овал,
Я с детства просто убивал!

Во-вторых: пафос этих строк вполне соответствует некоторым его другим стихам и высказываниям — например, по поводу знаменитого стихотворения «Искушение» («Довольно! Красоты не надо!») — «Те ошибутся, кто в нем увидит неприятие Революции. (Именно так по юношеской наивности ошибался и я. — Т. К.) В нем только сердце, оскорбленное, как говорится, в лучших чувствах своих некоторыми предателями Революции, обращается к душе с язвительным искушением».

Предательство же этих некоторых, как явствует из самого стихотворения, заключалось в том, что они, вместо того чтобы раздувать и дальше мировой пожар и загонять ключу истории, то есть безнаказанно убивать и грабить, расстреливать заложников и распинать попов, стали — о ужас! о стыд! — торговать, уподобившись буржую и кулаку, смертельно оскорбив этим прозаическим занятием нежное сердце «голодного сына гармонии».

К тому же из примечаний Н. А. Богомолова мы узнаем, что написано это стихотворение, по словам автора, «После

какого-то препирательства с “доброй” Екат<ериной> Павло<вной> Султановой». Не знаю, чем уж не угодила поэту неведомая мне Екатерина Павловна, но кавычки, в которые заключено слово «добрая», приводят на память советское озлобленно-презрительное «добренький» и «исусик», а также неустанную борьбу кремлевских мечтателей с «абстрактным буржуазным гуманизмом».

С другой стороны — уж слишком, действительно, похоже на бальмонтовско-брюсовский оранжерейный демонизм, желание прославить «и Господа и дьявола, чтоб всюду плавала свободная ладья». И не хочется все-таки верить, что не ищущий спасения ходасевичевский кораблик плывет в кильватере этих дурацких чуждых чарам черных ладей. Да ведь даже и на есенинское убогое хулиганство это тоже немало смахивает:

Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

И очень уж похоже на искаленную героиню «Тихого стража», которая и сама-то является пародией:

«— Ты можешь выздороветь.

— Зачем? Я именно вот так в колясочке и хороша. И потом, вылечись я, — я могу сделаться добрее, это опять-таки не дело. Это, как говорится, не стильно, понимаешь?»

В общем, как сказал бы Жора, «дело ясное, что дело темное».

Предельно ясным мне представляется только одно — вековечное отвращение некоторой части моих коллег по веселому цеху к добру, к мирным обывательским радостям и добродетелям, порядку и иерархичности, презрение к срединному пласту бытия, который дан нам в удел и который мы обязаны возделывать и доводить до ума, к нормальной человеческой жизни, гораццианской «золотой середине», непреодолимый, зудящий соблазн нарушения стеснительных правил, куцых конституций и авторитарных заповедей. И не в «Бродячей собаке» это безобразие началось, и даже не тогда, когда свихнувшийся немецкий поляк проклял все «слишком человеческое» и объявил переоценку ценностей, то есть возврат к ценностям дохристианским, даже допотопным.

Было это и раньше, повторялось много раз, да и в самом начале, самый первый соблазн и самое первое паскудство связаны ведь были именно с этим нежеланием довольствоваться наличным местожительством, даже если это и земной рай, с отказом покоряться своей доле, даже если это бессмертное и безгрешное блаженство.

«Будь или ангел или демон». Да будь же ты человеком, в конце-то концов!

Так что первыми мятежными романтиками явились, похоже, ветхий Адам и его легкомысленная супруга. Что уж удивляться тому, что описанная насмешливым Кузминым дочь нашей повадливой праматери выражает желание пойти «ко всенощной в Казанский собор голой» в доказательство приверженности идеалам свободы, любви и «отсутствия всяких предрассудков».

Ну а нынче-то и вообще — «пуще прежнего старуха вздурилась». Но не быть ей ни царицею морскою, ни, как в первоначальном варианте, римской папою.

И эта детская, дикарская уверенность в том, что размер имеет значение, что маленькое и слабое всегда плохо, а большое и сильное всегда хорошо, что великое злодейство достойней и красивее мелкого благодеяния «здесь на горошине земли».

Как писала Цветаева о горлане и главаре, воспеваящем Дзержинского и Ленина: «Маяковский — сила. А сила всегда права». Да почему же, Марина Ивановна? Да откуда же вы это взяли? Ответить можно словами цветаевской мамы: «Это в воздухе носится». Ох, носится.

Или Блок, который убожество Первой мировой войны доказывает тем, что она не очень заметна: «Довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег». И дальше в той же изумительной статье: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего...»

Как говорит Жорик: «Воровать так миллион, е...ть так королеву». И ведь эти хулиганские безмерные требования, как правило, совсем не значат, что носитель этой горделивой идеологии откажется стибрить плохо лежащую десятку или трахнуть захмелевшую буфетчицу. Просто десятку эту он тут же незамедлительно пропьет или проиграет в игровых автоматах, а со своей случайной подругой не будет церемониться — чай не королева.

И скука, скука, и святая злоба, и неужели и через четверть века «все будет так, исхода нет»?!

Исход наступит через пять лет, а через четверть века будет праздноваться уже двадцатилетие Великой и Ужасной Октябрьской Социалистической Революции, — то-то настанет веселье, то-то торжество свободы и красоты. И никакой обывательской пошлости.

Кто доживет, оценит.

Потому что все это манящее и блазнящее Великое и Ужасное оказывается на поверку очередным обманом, в лучшем случае смешным и жалким, как в Изумрудном Городе, но чаще омерзительно и мелочно злобным и жестоким и неизбывно, невыносимо тупым и пошлым, как в наших с вами злосчастных городах.

А Единственный по-настоящему Великий запросто ходит в гости к карлику Закхею, и воистину, непомерно и невыносимо, Ужасный «трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» и, идя на муку, исцелит отрубленное перепуганным Петром ухо своего мучителя...

К чему я все это, собственно?

Сам уже почти забыл, взъярившись, что затеял весь этот хай с единственной целью — подчеркнуть достоинства моего не очень прописанного фельдшера Юлика, который, не смотря на то что, в отличие от своего прототипа, не стал известным русским поэтом, и вообще «особенной интеллекцией блистать не мог», является по замыслу автора настоящим положительным героем нашего времени, именно потому что никогда не оставляет свою маленькую доброту в прихожей. Он даже приезжал в Колдуны еще два раза, сменить Ладины повязки и снять швы. И даже, чертыхаясь про себя, согласился отвести домой бабы-Шурины гостинцы — соле-

ня, варенья и совсем уж ненужную ему картошку. И ведь не выбросил ее, довез, весь потный и злой, до дома целых полмешка, надо сказать к большому удовольствию своей маменьки.

Ну а бессмысленный и тусклый свет фонаря у аптеки покажется нам райским сиянием, когда/если разгоряченные носители мечты в тишотках с кубинским красавчиком, или арабской вязью, или с какой-нибудь солярной символикой побьют фонари и погромят аптеки, и мы в очередной раз узнаем «холод и мрак грядущих дней».

Юношам же бледным собирающимся на Форум молодых писателей России в Липках, я настоятельно советую учиться описывать и понимать фонари не у певца Прекрасной Дамы и красногвардейской шпаны с раскосыми и жадными очами, а у «Человека, который был Четвергом».

См. Гилберт Кийт Честертон, Собрание сочинений в пяти томах, том 1, стр. 186.

23. БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО

*Последний день
Сверкал мне в очи;
Последней ночи
Встречал я тень, —
И в думе лютой
Все решено;
Еще минута —
И... свершено!..
Но вдруг неожиданный
Надежды луч,
Как свет багряный,
Блеснул из туч...
Александр Иванович Полежаев*

Волшебная зима в Колдунах шла к концу — неспешно и неохотно, упираясь из последних сил и огрызаясь. Морозы стояли все еще неколебимо, но тьма, казавшаяся вечной и всемогущей, таяла на глазах, под натиском с каждым днем прибывающего, совершенно уже весеннего света.

Но рано обрадовались беспечные поселяне. Хоть им и удалось отбить атаку стихийных, хтонических, так сказать естественных (или сверхъестественных) сил, но Колдунам еще предстояло в эту зиму пережить нашествие иного зла — человеческого или, если угодно, социального, не менее опасного и не более разумного. И, на мой взгляд, абсолютно противоположного.

Причиною этой беде послужило празднование Дня защитника Отечества, а вернее сказать то, что, как говорил последний генеральный секретарь, «не все еще научились веселиться без вина» и что культура потребления винно-водочных напитков в Российской Федерации находится все еще на удручающе низком уровне. Чему доказательством явилось не только безобразничанье Жорика, который с утра уже требовал, как защитник Отечества, дармовой выпивки, а выклянчив оную у мягкосердечной Егоровны, целый день куражился над Чебуреком, обзывая его Бараком Обамой и обвиняя в развале Союза и грузинском империализме, но и неадекватное и ни с чем несообразное поведение капитана Харчевникова.

С Жоры-то что взять? Да и все его праздничные затеи были по большому счету безобидны и даже забавны. И то, как он обучил Ладу командам «Смирно! Вольно! Разойдись!», а потом и команде «Ханде хох!» и «Гитлер капут!», и то, как он исполнял патриотические песни, особенно «Широка страна моя родная», корча страшную рожу («Но сурово брови мы насупим...»), грозя кулаком Чебуреку («Если враг захочет нас сломать!»), сластолюбиво улыбаясь Сапрыкиной («Как невесту, Родину мы любим!») и заключая в объятия отбивающуюся и хихикающую Александру Егоровну («Бережем, как ласковую мать!») Лада, конечно же, от всей души и во весь голос ему подпевала.

А вот у Харчевниковых праздника не получилось. Капитан, впрочем, основательно напраздновался на службе, в родном коллективе, буквально на боевом посту, ну и в хмельном кураже решил, невзирая на поздний час, продолжить банкет по месту жительства. «А чо такого?! Чо, не имею права в свой профессиональный, можно сказать,

праздник?!» Но Зойка уже в дверях объяснила, «чо такого», подгулявшим защитникам Отечества — Леха ведь, расхрабрившись, притащил с собой своего «лучшего кореша», старшего лейтенанта Пилипенко.

Стыдно стало пьяному капитану перед боевым товарищем, взыграло ретивое, оттого и повел он себя так опрометчиво и дерзновенно и на предложение убираться туда, где нажрался, рявкнул: «Хорошо же! Пошли, Димон. А ты, проشمандовка, еще пожалеешь! Я те гарантирую! Пожалеешь, суконка!»

Покатили на дачу, праздновать новоселье, поскольку Леха решил ни за что не возвращаться к неблагодарной лахудре и впредь вести вольную пацанскую жизнь. Звонили подружкам разбитного Димона, но были посланы, а на предложение воспользоваться платными услугами профессионалок Леха все-таки ответил решительным нет — дураю, из трусости.

Приехали уже во втором часу. Перебудили и перепугали деревенских жителей, были облаяны Ладой и стали пить, закутавшись в пледы и одеяла — изба-то была нетоплена, да и печь заменена хозяйкой на красивый, но ни хрена не греющий, а только дымящий камин. Но поначалу было все равно смешно и кайфово, как в самоволке или даже в пионерлагере, а вот пробуждение, как вы понимаете, получилось невеселое — настоящее хмурое утро и хождение по мукам. Капитан в тоске обдумывал приемлемые условия капитуляции, хотя было понятно, что она будет безоговорочной и постыдной, а старлей, мучимый холодом и похмельем, злился и на себя, и на друга, и на весь свет, и особенно на то непривычное, обидное положение, когда злость не на

ком сорвать. В отличие от рыжого и аморфного во всех отношениях Харчевникова, был Пилипенко поджар, нагл и по-настоящему, естественно и простодушно, жесток.

А тут и появляется с двумя пластмассовыми ведрами родниковой воды и в сопровождении Ладки Чебурек.

Глазки Димона загорелись:

— Эт кто же это у вас такой?

— А хрен его знает, — ответил мрачный капитан, роясь в салоне в тщетной надежде найти какую-нибудь забытую вчера бутылку.

— Эй, уважаемый! Ком цу мир!

Бежать было поздно.

Последовавшая сцена была почти точным повторением первого диалога Чебурека и Жорика, только смешного в ней уж точно ничего не было.

Жорик меж тем уже обежал старух:

— Атас! Ментуарии Чебурека повязали!

— Какие ментуарии, черт бестолковый?

— Да мильтоны, мусора! Лешка и еще какой-то рыжий!

Ну теперь в двадцать четыре часа в Кара-Кумы, к верблюдам! И к варанам! Уч-кудук — три колодца!

Если б не заступничество Тюремщицы, все могло бы еще обойтись. Капитан уже буркнул Димону: «Харэ тебе вязаться. На хрен он нам упал? Чо с него возьмешь? Поехали давай уже». Но налетевшая Сапрыкина, с ходу обозвав Димона оборотнем в погонах, сопляком и рыжим засранцем, Лехе указав на то, что он отрастил брюхо, как беременная баба, и рожу, которую за три дня не уделаешь, пригрозив судом за самозахват каких-то лишних квадратных метров народной земли, а на строгий вопрос: «А вы кто такая? Фамилия?» ци-

нично и насмешливо ответив: «П...а кобылья!», не оставила ментам ни одного шанса пойти на попятный без ущерба для чести мундира. Александра же Егоровна все это время только охала и ахала в ужасе и растерянности, а Лада хотя и лаяла на всякий случай на незнакомца, но явно не отдавала себе отчет во всей серьезности ситуации. Жора наблюдал из безопасного далека.

И вот уже Димон, движением, скопированным у голливудских копов, наклоняет злосчастную чебуречью головушку в дверь автомобиля, и мы уже готовы навсегда расстаться с нашим загадочным скитальцем, и Сапрыкина напоследок орет: «Небось деньги дать, сволочи, так отпустили б! Пидарасы!», но тут наконец-то вмешивается тетя Шура:

— Леш! Миленький! Погоди! Я сейчас... только погоди, не уезжай... я сейчас...

С удивительной быстротой прохромала она в свою избушку и тут же вернулась, неся в протянутой к ментам руке невероятную красную пятитысячную бумажку.

— Вот, сынок, возьми, пожалуйста. Только нашего-то парня отпусти, а? Он же ничего худого-то не сделал! Отпусти, а?

Все кроме Лады застыли в изумлении.

Даже Пилипенко не сразу нашелся:

— Ну ты даешь, бабка!.. Ишь... Все им пенсии не хватает... Ну ладно... Эй ты, чмо болотное, давай отсюда. Сделай так, чтоб я тебя долго искал!

Это пожелание Чебурек понял без перевода и охотно исполнил, даже не поблагодарив в этот момент Егоровну.

А Лехе стало как-то не то чтобы противно, не то чтоб совестно (как говорил Жора в подобных случаях: «Где была

совесть, там х... вырос!»), но как-то нехорошо, неприятно. И Димона лишать заслуженной добычи не хотелось, да и невозможно было, но и перед односельчанами все-таки было неудобно.

— Ты, баб Шура, чо-то много дала, — капитан полез в толстый лопатник, выгашил несколько бумажек и с кривой улыбочкой сунул их соседке. — На вот сдачу тебе. А то скажешь...

Машина тронулась, но была тут же остановлена заполошным криком Александры Егоровны:

— Стой! Леша! Стой!

— Ну чего тебе еще?

— Да ты обсчитался, Леш! Тут все пять тысяч и есть!

— Дура ты все-таки, баба Шура!.. Ну поехали, чо уставился? Поехали, говорю!

Вот так Александра Егоровна выкупила из неволи праведного иноверца, а капитан Харчевников сделал наконец доброе дело, которое, надеюсь, зачтется ему при подведении окончательных итогов.

Ведь если разобраться, настоящих, отъявленных сволочей среди нас гораздо меньше, чем принято считать.

24. МАРТ

*Мещане! Они и не знали,
Что, может, такой и бывает истинная любовь!*
Эдуард Аркадьевич Асадов

Ранняя весна — сколько щемящей, поэтической грусти и прелести слилось в этом словосочетании, и какая же это на самом деле гадость!

И длится она, в отличие от зрелой, благоуханной и благословенной, весны невероятно долго, томительно, выматывающая душу ожиданием и не сбывающимися надеждами, что вот, кажется, и проглянет свет и синева из этих темных и тяжелых, как мокрая вата, туч. Глаза б мои не глядели на медленно гниющий, все более и более грязный целлюлитный снег, на голые и склизкие черные деревья, на шугу (если я правильно употребляю это слово)* под промокшими окоченевшими ногами, и особенно на вылезавшие на серый свет безобразные остатки нашей прошлогодней жизнедеятельности.

В общем, никакая не пора любви, а сущее наказание, авитаминоз да мигрень, цинга да озена (это зловонный насморк, которым меня запугивала сестра, если я не дам ей меня лечить), пародонтоз да гангрена с водянкой.

Я решил было вообще пропустить это неприятное время года, но тут вспомнил о Барсике, которому уделено незаслу-

* Нет, неправильно. Шуга — это, по Далю, первый осенний лед, который сплошь несется по реке, с обмерзлыми комьями снега, незадолго до рекостава; мелкий лед, каша после вешнего ледолома.

женно мало внимания. Крылатое выражение «мартовский кот» пришло мне на ум, и, по естественной ассоциации идей, я решил посредством Барсика предать, наконец, публичному поруганию и уничтожению многовековые усилия деятелей искусства по эстетизации и даже сакрализации самой что ни на есть оголтелой кобелино-кошачьей похоти. В некотором смысле это должно было стать и актом запоздалого покаяния, поскольку и в моей любовной лирике можно при желании найти образцы подобного скудоумия и легкомыслия.

Сквозь магический кристалл мартовская глава представилась мне драматической сценой, вернее диалогом между Ладой и Барсиком, писаной, естественно, белым пятистопным ямбом с вкраплением шекспировских рифмованных двестишней. Лада, удивленная постоянными отлучками блудливого кота, спрашивает его о причинах такого странного поведения и сетует на то, что он, наверное, огорчает хозяйку, и неужели ему не стыдно, и неужели он их совсем не любит. Барсик презрительно фыркает и отвечает:

Любовь?! Да что ты знаешь о любви,
Убогое (или бескрылое?) домашнее созданье?!

И далее следует вдохновенный (по-настоящему вдохновенный и поэтичный) монолог Барсика во славу беззаконной и свободной любви. Как вы догадываетесь, состоять он должен был из цитат и квази-цитат из всей доступной автору мировой поэзии — от Сапфо и Катулла до Цветаевой и Бродского.

Среди зароиившихся в моем мозгу строк с неизбежностью зазвучало и блоковское «Приди, бери меня, торжественная страсть!». Полезши во второй том, чтобы проверить свою

память и впервые с пятнадцати или шестнадцати мальчишеских лет прочитав стихотворение «В дюнах», я просто-таки взвыл от восторга! Какие к чертям центоны, какие стилизации! Зачем же пересказывать своими неловкими словами то, что уже так замечательно пропето?! Не надо! Помещаем весь этот поразительный текст с единственной просьбой к читателю — наслаждаясь им, представляйте себе, пожалуйста, не только сомовский портрет «бога в лупанарии» (хотя и это уже достаточно комично), но и четвероногого героя-любownika нашей хроники —

Я не люблю пустого словаря
Любовных слов и жалких выражений:
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Навеки твой».
Я рабства не люблю. Свободным взором
Красивой женщине смотрю в глаза
И говорю: «Сегодня ночь. Но завтра —
Сияющий и новый день. Приди.
Бери меня, торжественная страсть.
А завтра я уйду — и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней — всё те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен — нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.

(Пропустим все-таки не очень относящееся к делу, хотя и очень красивое описание финского пейзажа.)

Так думал я. И вот она пришла
И встала на откосе. Были рыжи
Ее глаза от солнца и песка.
И волосы, смолистые как сосны,
В отливах синих падали на плечи.
Пришла. Скрестила свой звериный взгляд
С моим звериным взглядом. Засмеялась
Высоким смехом. Бросила в меня
Пучок травы и золотую горсть
Песку. Потом — вскочила
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далёко. Исцарапал
Лицо о хвои, окровавил руки
И платье изорвал. Кричал и гнал
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,
И страстный голос был — как звуки рога.
Она же оставляла легкий след
В зыбучих дюнах, и пропала в соснах,
Когда их заплела ночная синь.
И я лежу, от бега задыхаясь,
Один, в песке. В пылающих глазах
Еще бежит она — и вся хохочет:
Хохочут волосы, хохочут ноги,
Хохочет платье, вздутое от бега...
Лежу и думаю: «Сегодня ночь
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,
Пока не затравлю ее, как зверя,
И голосом, зовущим, как рога,
Не прегражу ей путь. И не скажу:

«Моя! Моя!» — И пусть она мне крикнет:
«Твоя! Твоя!»

Ну совершеннейший же мартовский Барсик! Этим вольным мыслям только эпиграфа недостает из Саши Черного:

Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите, кошки, на чердак...

С удовлетворением и гордостью вспоминаю, что даже в пору моего отрочески-юношеского опьянения блоковскими стихами и даже дневниками и записными книжками эта потная беготня Александра Александровича за своенравной финской красоткой (с неизбежностью возникает образ златовласой прелестницы с крышки сыра «Виола») всегда вызвала у меня чувство мучительной неловкости. Конечно, я не мог тогда признать, что мой любимый великий поэт (действительно ведь великий!) способен написать стихи безукоризненно и смехотворно гадкие и пошлые, достойные телеграфиста Ятя в исполнении Мартинсона, как не был способен понять сходство этой лирики с публицистической статьей большевистской поблядушки Коллонтай «Дорогу крылатому эросу! Письмо к рабочей молодежи», нет, я просто старался не перечитывать эти удивительные и в своем роде несравненные строки. И если б не Барсик, наверное, и сейчас не вспомнил бы, как прихотливо развлекался А. А. Блок со своей быстроногой Виолой.

Впрочем, боюсь, что мои сатира и юмор запоздали как минимум на столетие, поскольку пресловутая «Проблема Пола», тревожащая предреволюционных барышень и гим-

назистов, уже давно не кажется нам проблемой («Ноу проблем!» — как говорит Жора), мы за ненадобностью сбросили даже этот прозрачный камуфляж и радостно заголились, и нынешних отроков и отроковиц любви учит не «первый пакостный роман», а подробные научно-популярные и веселенькие инструкции колумнистов женских, мужских и розово-голубых журналов.

Как некогда писал Пригов и цитировал ваш покорный слуга: «Да он и не скрывается».

Как-то в клубе «Маяк» я слушал и смотрел выступление девичьего ансамбля, специализирующегося на исполнении советских лирических песен. Песни эти я знаю и люблю, пели и аккомпанировали девушки замечательно, да и сами были хороши собой, особенно маленькая прыгучая скрипачка, так что вечер явно удался; единственно, что меня слегка коробило и казалось немного безвкусным — это нарочитая и, на мой взгляд, избыточная ирония, которую всеми доступными им выразительными средствами обозначали юные исполнительницы. Мне казалось, что тексты этих песенок и без того настолько беззащитно-простодушны, что и безо всякого нажима и педалирования вызовут у нормального человека невольную усмешку.

Но уже в такси, под совсем иные и совершенно невыносимые песни, я подумал о том, что, быть может, ирония-то относилась не только к бесхитростным словам Фатьянова, Исаковского и Лебедева-Кумача, а вообще ко всей этой лирической «черемухе», и к убежденности всей предыдущей мировой поэзии в том, что «жить без любви, быть может, просто, но как на свете без нее прожить?», и что так же насмешливо мои младые современницы воспримут и свя-

щенное умоисступление Сапфо, и катулловское «Люблю-ненавижу», и «Новую жизнь» Данта, и цветаевский «вечный привкус на губах твоих, о страсть». А вот это было бы печально и, быть, может непоправимо. Потому что основания для смотрения свысока на любовные страсти-мордасти ушедших эпох у нынешнего юношества очень уж шаткие, и знание того, что оргазмы подразделяются на вагинальные и клиторальные и что отсутствие оных самым пагубным образом влияет на физическое и психическое самочувствие, само по себе, наверное, полезное, не делает нас мудрее и защищеннее пред вечными безднами, ужасами и восторгами того, что мы, несмышлениши, привыкли называть половой жизнью и межличностными взаимоотношениями.

Помните школьников из «Brave New World», ужасающихся и не верящих экскурсоводу, который повествует о жестоких и темных временах первобытной дикости, когда детишкам почему-то запрещали трахаться?

Но иногда закрадываются подозрения в том, что и это антиутопическое вселенское б...ство было бы здоровее, чем эротические свычаи и обычаи нашего времени, потому что вековая борьба с ханжескими запретами проложила дорогу не крылатому Эросу, а более мелкому и унылому бесу, и для юношей, вязнущих во всемирной паутине, по слову Жорика: «Лучшая девчонка — правая ручонка», ведь среди своих одноклассниц и однокурсниц они никогда не найдут таких сисястых, длинноногих и на все согласных красоток, как на сайте devchjonki.ru!

Впрочем, не исключено, что все это я сильно преувеличил от старческой досады на изменяющую жизнь и от той самой не до конца сублимированной похоти, взывравшей

от вида юной и сексапильной скрипачки... Дай бог, чтобы так...

А все-таки правильно мы сделали, что кастрировали нашего кота Пузыря! Характер у него, при ангельской наружности, остался скверный, трусовато-драчливый и вредливый, как у Жорика, но зато от неприятных маскулинных запахов и завываний торжественной страсти мы и себя и его избавили.

А закончить эту сомнительную главу я хочу словами старого мудрого Опоссума:

You now have learned enough to see
That Cats are much like you and me*.

* Теперь ты знаешь, что Коты —
Они совсем как я и ты.
(Перевод С. Г. Дубовицкой.)

25. ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

*Проснитесь, рощи и поля;
Пусть жизнью все кипит:
Она моя, она моя!
Мне сердце говорит.*

Антон Антонович Дельвиг

Суетность и условность наших эстетических пристрастий поистине удивительны и смехотворны!

Представим барышню, которая обтянула бедра юбкой из зеленого панбархата в лиловый и пунцовый цветочек, подпоясалась каким-то серо-бурым кушачком, напялила лазурную блузку с белыми кружевными рюшечками, а сверху еще нахлобучила златоблещущую шляпку!

При встрече с подобным чучелом большинство из нас хмыкнуло бы насмешливо и вообразило бы себе, что сказали бы Эвелина и Арина из «Модного приговора». А я бы вообще, приняв ее за умалишенную, испуганно отвел глаза и ускорил шаг от греха подальше.

А ведь именно так наряжается родная природа в свой радостный брачный период, и мы торчим в пробках со своими мангалами и бутылками, чтобы выбраться на ее не такое уж, прямо скажем, девственное лоно, и именно это, как ни странно, зовется неброской красотой русской весны.

Ну а моим маленьким персонажам никуда для этого и ехать было не надо — вышел со двора, сел на починенную Чебуреком скамеечку и сиди, жмурься, грей на солнышке старенькие косточки или носись как угорелый по свежей пахучей траве, прыгай в еще ледяную, слепящую воду Мед-

ведки и ори во все горло песнь — то ли торжествующей любви, то ли просто радости — как Шиллер с Бетховеном и Тютчев с Митей Карамазовым, да и вся объединенная Европа в придачу:

Радость, радость, вот так радость
На земле и на душе!
Никакого нету сладу
С этой радостью уже!
Посмотри, как пляшет Лада,
Славит Бога глупый лай!
Что же ты, моя отрада?
Ну, хозяйка, подпевай!

Хором:

*Радость, первенец творенья,
Дщерь великого Отца
Шлют тебе благодаренье
Немудрящие сердца!*

Смертных ропот безрассуден,
Бога нечего гневить.
Радуйся, душа, покуда
Продолжает свет светить.
Свет фаворский, незакатный,
Теплый-теплый вешний свет
Возвращает нам обратно
Тех, кого в помине нет.

*Хором:
Радость, первенец творенья,
Напоет допьяна!
Подключился к пенопению
Даже Жорик с бодуна!*

Радость, гадом буду, радость
Каплет чистым первачом!
Хрена ли еще вам надо?
Все по кайфу, все путем!
Чита-Рита-Маргарита!
Пиво-водка-полежим!
Все что было — шито-крыто,
Все, что будет — поглядим!

*Хором:
Радость, первенец творенья,
Сводит с гордого ума.
Заразилась нашей ленью
И Сапрыкина сама!*

Неустойчивы морально
Все вы тут как на подбор!
Ну с чего вы разорались?
Тоже мне, церковный хор!..
А вообще-то — чем не радость?
В огороде так и прет!
К солнцу тянется рассада...
Чо молчишь, нерусский черт?

Хором:

*Радость, первенец творенья,
Дщерь Отца на небесах,
Даждь нам всем без исключенья
Чистый свет, пречистый смех!*

*An die Freude! Баба Шура!
Ныцух вуха! Мук цэхай!
Ыводалачоуаллеху!
Хулюм конджо йихедаль!
Жора туру соу ноу,
Лада ыводдаллеху,
Рита, хулюм туру ноу!
Амэсэгеналлеху!*

Хором:

*Радость, первенец творенья,
Помирает смерть и ложь!..
Вот и все стихотворенье.
Что еще с меня возьмешь?*

*Рады бабы, рада Лада.
Бога нечего гневить.
Никогда не буду гадом,
Постараюсь не дурить!
К солнцу тянется рассада,
Тянется рука к перу.
Слушай, умирать не надо!
— Ладно-ладно, не умру!*

Ну вот видите — автор сам не выдержал и присоединил свой сугубо лирический баритон к хору псевдо-эпических персонажей.

Да что там Шиллер! День стоял такой теплый, лучисто-золотистый, безмозглый и бездельный, что впору было всем распуститься и замурлыкать фофановский, осмеянный и позабытый, романс:

Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом!

А баловник Жора, повалявшись пару часов на берегу и на солнышке с самодельной удочкой (самодельной — в смысле сделанной по его приказу Чебуреком, и сделанной, надо сказать, очень ладно), наскучил безрезультатной рыбной ловлей и отправился искать иных развлечений.

— Что, Жора, на уху-то пригласишь? — беззлобно пошутила разнежившаяся на припеке Александра Егоровна над незадачливым рыбарем.

За Жорой, конечно, не заржавело:

— Лучшая рыба — это колбаса. А лучшая колбаса — это что, Егоровна?

— Где ж мне знать!

— Чулок с деньгами!

Шутка Егоровне понравилась. Она вообще в невинности своей считала Жорика очень остроумным и была уверена, что он хотя, конечно, и охальник, но в то же время необыкновенно талантливый и оригинальный юморист.

— Ну чо, старая, отмучилась?

— Как так отмучилась? — удивилась баба Шура.

— Да до лета-то осталось с гулькин нос! Скоро и твой мент приедет! Ты из него бабла-то за собаку вытряси!

Как гром среди ясного майского неба, как бетховенское *па-па-па-пам!* прозвучали для Егоровны эти слова. Она ведь и думать забыла про Харчевниковых, законных как-никак хозяев ее ненаглядной Ладки. А лето, оно ведь и вправду на носу.

Ничего вслух не ответила Жорику баба Шура. Про себя же твердо и бесповоротно сказала: «Не отдам!».

26. ЭПИЛОГ

*...Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего.
Александр Сергеевич Пушкин*

И она действительно никому и ни за что не отдаст свою подружку.

Да никто и не попытается их разлучить. Зойка Харчевникова в тот год отправит бедную Лизу на все три смены в какой-то эксклюзивный молодежный лагерь — с изучением основ эффективного менеджмента и английского и немецкого языков, кружками латиноамериканских танцев и танца живота, с конкурсами мисс-лагерь, со встречами с героями МЧС, ВДВ и Администрации Президента и многими другими затеями по воспитанию будущей политической и бизнес-элиты и вообще ВИПов, где Лиза мучительно и безнадежно влюбится в вожатого пятого отряда и, кажется, начнет писать стихи.

Ну а никому другому в этой семейке наша заглавная героиня, конечно же, и даром будет не нужна.

Но вообще грядущее лето ознаменуется в Колдунах событиями волнующими и удивительными.

Во-первых, Сапрыкина в августе уедет на Дальний Восток нянчить новых внучат (двойню) от новой снохи, потому что ее сынок, сделавший головокружительную единоросскую карьеру и бросивший в этой связи старую, непрестижную и ненавистную Маргарите Сергеевне жену, женится на молоденькой пресс-секретарше.

На проводах Сапрыкиной Жора будет бит целых два раза — вначале за приставание к пьяной жене младшего Быка, а в конце за попытку слямзить непочатую бутылку самогона. Впрочем, оба раза не очень больно.

Дальнейшая же судьба Жорика замечательна единственно тем, что он при всех стараниях так никогда и не сопьется по-настоящему — видимо, даже для этого ему всегда будет не хватать усидчивости и постоянства.

А вот в жизни Чебурека произойдут изменения прямо-таки невероятные и, можно сказать, сказочные. Однажды его наймут столичные дачники помогать при устройстве грандиозных шашлыков на несколько десятков гостей. Одна же из гостей, одинокая и совсем еще не старая старшая научная сотрудница Института стран Азии и Африки, придет в изумление, услышав чебуречьи напевы, — никому неизвестный язык окажется тем самым почти исчезнувшим диалектом, изучению которого она отдала свои лучшие годы. Когда же она увидит носителя этого древнего языка, участь ее будет решена, равно как и участь Чебурека. А поскольку дядя пылкой ученой дамы является очень важным эмвэдэшным чином, она сможет выправить своему меджнуну не то что заурядную регистрацию, а настоящий новенький российский паспорт и устроить его куда-то на хорошую зарплату работать консультантом. И однажды он с женой придет на какой-то ослепительной иномарке навестить своих друзей, привезет Жоре ящик шведской водки «Абсолют» — и с перцем, и лимонную, и еще невесть какую. А Александре Егоровне — угадайте что? Правильно! Те самые туфельки, точь-в-точь как она мечтала, даже еще прекраснее. Ну и утюг, разумеется.

Ю. Ф. Миколайчук найдет щедрых и легковверных спонсоров и осуществит переиздание своей книжки, «исправленное и дополненное» биографическим очерком о жизни и творчестве революционера-демократа Ракитина и собранием околоцерковных легенд о житии отца Ферапонта. Книгу номинируют и на шолоховскую, и на бунинскую премии, которые Миколайчук, естественно, не получит, но страшно заважничает и станет совершенно невыносимым для окружающих, особенно для подчиненных ему тетенок отдела культуры вознесенской мэрии.

Если кого интересует, что случится с романтическими волками, могу сообщить, что после поражения под Колдунами они продолжили свой гибельный путь и были остановлены только на подступах к Вознесенску. Была организована грандиозная облава, но ни один волк не пострадал, поскольку командовал охотниками кандидат биологических наук (а теперь, может, и доктор) А. Д. Поярков, и ружья были заряжены такими специальными ампулами со снотворным. Усыпленных хищников отправят в далекий таежный район, где опрометчивые звероловы извели всех волков и лисиц, из-за чего поголовье зайцев катастрофически выросло и эти распоясавшиеся грызуны стали истинным бедствием для местных жителей и народного хозяйства. Вот там-то наши волки и станут работать санитарями леса и восстанавливать экологический баланс.

Да! чуть не забыл — Юлик после этой истории перекалфицируется и со временем станет светилом российской ветеринарии, его даже будут уважительно называть русским Джеймсом Хэрриотом, и однажды за ним пришлют специальный вертолет, чтобы он спас чем-то обожравшегося президентского ретривера, или кто там у него.

А грозный старший Бык через три года погонится за Жориком, поймает его на мостках, начнет лупцевать, и вдруг схватится за сердце и отдаст душу Богу.

Ну а Александра Егоровна с Ладой, они-то будут жить долго и счастливо.

И вообще не умрут.

Никогда.

Потому что...

Ну потому что какое нам-то, в сущности, дело, что все обращается в прах, и над сколькими еще безднами предстоит нам с тобою бродить и верить, коченеть и петь?

к о н е ц

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Интродукция	5
2. Первая любовь	12
3. Колдуны	21
4. Предательство	31
5. Соперник	35
6. Выбор Лады	47
7. Новая жизнь	51
8. А. Е. Гоголина, в девичестве Богучарова	57
9. А. Е. Гоголина. <i>Продолжение</i>	66
10. Меланколия	74
11. Таинственный пришлец	79
12. Чушь собачья!	90
13. Неосуществимая коза	100
14. Как в сказке	109
15. Долгими зимними вечерами	113
16. Волки	122
17. Последняя битва воительницы Лукоморья	130
18. Ретардация	135
19. Все еще ретардация	138
20. Неотложная помощь	144
21. Вечеря	151
22. Лирическое отступление о маленькой доброте и больших поэтах	158
23. Бабло побеждает зло	167
24. Март	173
25. Именины сердца	181
26. Эпилог	187

Литературно-художественное издание

Тимур Юрьевич Кибилов

ЛАДА, или РАДОСТЬ

Хроника верной и счастливой любви
роман

Редактор

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Подписано в печать 06.12.2013.

Формат 70x108/32. Бумага писчая.

Гарнитура Charter. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,4. Тираж 2000 экз. Заказ № 1113.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

<http://books.vremya.ru>

letter@books.vremya.ru

(495) 951 55 68

Отпечатано в

ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru> book@uralprint.ru



Предлагаемое вашему вниманию литературно-художественное произведение является первым прозаическим опытом нашего автора. И хотя новичком на поприще отечественной словесности Т. Ю. Кибирова никак не назовешь (недавно, между прочим, было отмечено двадцатилетие плодотворной творческой деятельности — и это считая с первой публикации, а с первого написанного стиха так вообще сорокалетие с хвостиком!), и хотя сочинитель этот совсем не робкого (в литературном, конечно, смысле) десятка и, подобно каверинским капитанам и теннисоновскому Улиссу, давно уже начертал на своем щите «To strive, to seek, to find, and not to yield!», тем не менее, невзирая на все это, я ужасно как трушу и смущаюсь и поэтому начинаю все-таки с естественного и привычного лирического песнопения...

Тимур Кибиров